

## **О. В. ТВОРОГОВ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ**

*(Публикация Л. В. Соколовой)*

Воспоминания доктора филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии Российской Федерации Олега Викторовича Творогова, написанные по просьбе его внуков и предназначавшиеся для семейного архива, интересны и как материал к биографии крупного ученого, трудным путем пришедшего в науку, и как свидетельство очевидца драматических событий XX в. Поэтому мы попросили у автора разрешения опубликовать их с некоторыми сокращениями. К нашему большому сожалению, Олег Викторович не увидит свои воспоминания вышедшими в свет: 24 июня 2015 г. он скончался.

Олег Викторович Творогов работал в Пушкинском Доме 45 лет: с 1961 по 2006 г. Он признанный специалист по древнерусской литературе, в первую очередь по литературе Киевской Руси и хронографии. Его книга «Древнерусские хронографы» (1975) вошла в золотой фонд палеославистики, она относится к числу книг первой необходимости для любого медиевиста. В 1999–2001 гг. вышло подготовленное О. В. Твороговым фундаментальное издание-исследование «Летописца Еллинского и Римского», за которое он был удостоен в 2009 г. академической премии им. А. А. Шахматова.

Много труда и времени ученый посвятил изучению «Слова о полку Игореве». Помимо исследовательских статей по различным проблемам «Слова» он проделал большую работу в качестве редактора 6-томного «Словаря-справочника “Слова о полку Игореве”», написал более 200 статей для 5-томной Энциклопедии «Слова» и был ее ответственным редактором. В мае 1964 г. Олег Викторович участвовал в знаменитом обсуждении книги А. А. Зимина о времени создания «Слова» как один из самых молодых и при этом сильных оппонентов. Оставаясь до конца на принципиальных позициях защитника древности «Слова», Олег Викторович выступил научным редактором изданной в 2006 г. монографии А. А. Зимина.

Необычайно важны работы Олега Викторовича по систематизации гуманитарного знания: словари, энциклопедии, библиографии, описания рукописных собраний. Он составил Каталог памятников древнерусской книжности XI–XIV вв., Каталог переводных житий, был одним из составителей и редактором «Описания рукописного собрания М. П. Погодина», принимал самое активное участие в таких коллективных трудах Отдела древнерусской литературы ИРЛИ, как «Истоки русской беллетристики», «История русской литературы XI–XVII вв.», 12-томная серия «Памятники литературы Древней Руси» (за которую он в числе других был удостоен в 1993 г. Государственной премии Российской Федерации) и ее расширенное переиздание – 20-томная «Библиотека литературы Древней Руси», «Словарь книжников и книжности Древней Руси», выпуски библиографий работ по древнерусской литературе и др.<sup>1</sup>

Всю свою научную жизнь Олег Викторович оставался прежде всего сотрудником Сектора древнерусской литературы, при том что с 1988 по 1996 г. был заместителем директора Пушкинского Дома, многие годы читал курсы лекций в вузах Санкт-Петербурга. После смерти Д. С. Лихачева именно он с 1999 по 2004 г. исполнял обязанности заведующего Отделом древнерусской литературы.

\*\*\*

Я родился 11 октября 1928 года в Ленинграде и детство провел в квартире № 3 дома № 67 по улице Марата. Отец мой, Виктор Алексеевич Творогов, с конца тридцатых годов и до ухода на пенсию работал вначале бухгалтером, а затем заместителем главного бухгалтера в Управлении шоссейных дорог по Ленинградской области (Ушосдор). Бухгалтерия не была его призванием: увлеченный технарь, он хотел стать инженером, но Первая мировая война, которую он провел на фронте, а затем революция перечеркнули его планы. До конца своих дней отец был страстным радиолубителем. Собранный им по деталям радиоприемник так никогда и не обрел законченного вида в футляре: отец постоянно совершенствовал его и, кажется, добился хороших результатов как по диапазону приема, так и по чистоте звука.

---

<sup>1</sup> Подробнее о работах ученого см.: Олег Викторович Творогов: [Биобиблиография] / Сост., вступ. статья Л. В. Соколовой. СПб., 2013.

Другой его страстью была классическая музыка. Контуженный на войне, что привело его к почти полной потере слуха, он не мог посещать филармонию, но зато собрал богатейшую коллекцию пластинок с записями симфонической, камерной и оперной музыки. Пока я был совсем малышом, отец не знал, как со мной общаться, но лет с девятидесяти я стал регулярно ходить с ним на прогулки, «дышать свежим воздухом», как говорила мать. Из-за глухоты отца мы не могли разговаривать. Беседа превращалась в монолог: отец рассказывал мне что-то, отвечая на мои вопросы. Человек кристальной порядочности в быту и добросовестности в работе (он был на хорошем счету, награждался), отец стремился воспитать меня с такими же качествами, тем более что свою трудовую биографию я начинал счетоводом под его руководством.

Мать моя, Юлия Ивановна (в девичестве Кондратьева), уроженка Калуги, в двадцатые годы переехавшая в Ленинград, после моего рождения всю себя отдала уходу за мной, моему воспитанию. Этого потребовала наша семейная драма: я родился с серьезным дефектом полости рта и до трех лет говорил так невнятно, что меня могла понимать только мама. Благодаря чудесному мастерству хирурга Лимберга (впоследствии знаменитого ученого, во время войны генерал-лейтенанта медицинской службы)<sup>1</sup> я обрел возможность нормально говорить, хотя сохранялась некоторое время картавость <...> Забегая вперед, скажу, что в шестидесятые годы зубной врач – в прошлом ученица Лимберга – убедила меня навестить профессора и лично поблагодарить его. Профессор, к тому времени член-корреспондент АМН СССР, был растроган. «Чаще приходят с жалобами», – грустно сказал он и попросил меня сказать несколько слов его студентам на лекции, чтобы будущие хирурги смогли наглядно оценить результаты операции. Я прочел несколько строк из «Медного всадника», изобилующих зловещим «р». Студенты аплодировали, не мне, разумеется, а хирургу, сотворившему чудо.

Несколько слов о доме, где я провел детство. При доме был сад, окруженный высокой каменной оградой, попасть в него можно было лишь по навесному коридору, соединявшему квартиру второго этажа, где проживал домовладелец, с беседкой в саду. Посередине сада был фонтан, вероятно, были и цветники, но ко времени моего детства в ограде сделали пролом, и в сад можно было войти со двора. Фонтан давно уже не функционировал, и в саду не было ни травинки. Именно в этом саду я позорно провалил экзамен на политическую зрелость.

В саду гуляла с малышней воспитательница детского сада. Она заговорила со мной, и, отвечая на вопрос о семье, я простодушно поведал, что дедушка и бабушка мои высланы. Когда я рассказал об этом матери, она страшно разволновалась, отругала меня за болтливость и побежала в сад посмотреть на мою собеседницу. Вернулась немного успокоенная: «У нее доброе и интеллигентное лицо. Может быть, обойдется». Обошлось, хотя я и сейчас не понимаю, какую тайну выдал: в эти годы высылка из Ленинграда была широко распространенным явлением.

До войны мы жили в квартире, первоначально снимавшейся моим дедом, Алексеем Степановичем Твороговым. В свое время, на рубеже XIX и XX веков, он убедил домовладельца провести в дом электричество. Когда мой дед обратился к домовладельцу за разрешением провести свет в квартиру, тот вначале ответил решительным отказом: держать в доме молнию в стеклянной банке вместо надежной, как он полагал, керосиновой лампы домовладелец считал делом рискованным. Тогда дед уговорил его сходить на соседнюю Ямскую улицу (ныне улица Достоевского), где жил его брат, уже проводивший себе электричество. Домовладелец придирчиво рассматривал электрические лампы, высказывал различные опасения, но потом сдался. Он не только провел свет в свою квартиру и разрешил это сделать своим съемщикам, но иллюминировал и свой любимый сад.

В двадцатые годы квартира стала, естественно, коммунальной: в ней проживали четырнадцать человек. Помимо нашей семьи в квартире жили дедушка с бабушкой, моя тетушка Сусанна – младшая сестра отца и брат матери – Евгений Иванович [Кондратьев].<sup>2</sup> Остальные жильцы были посторонние, но уживались, насколько я помню, мирно. В 1935 году дедушка и бабушка были высланы из Ленинграда в Карелию.<sup>3</sup> После писем к властям (кажется, к Куйбышеву) бабушка была восстановлена в правах и в 1936 году смогла вернуться в Ленинград, а дед так и умер в ссылке. Бабушка, вернувшись, устроилась гардеробщицей в Театральную библиотеку (на площади Островского) и с упоением рассказывала о знаменитых артистах, посещавших библиотеку. Она была очень жизнерадостной, часто садилась за рояль, играла и пела, что вызывало, как я помню, добрую иронию у моих родителей. Когда началась война, бабушка проявила себя истинной патриоткой: она убеждала всех в нашей неизбежной победе и охотно дежурила с противогазом через плечо в воротах дома, что требовалось тогда от всех неработающих горожан (работа бабушки, видимо,

прервалась). Умерла бабушка в декабре 1941 года [в блокадном Ленинграде].

Моя тетушка Сусанна окончила ФЗУ<sup>4</sup> и до самой пенсии работала серебрильщицей на знаменитом тогда ГОМЗЕ.<sup>5</sup> <...> В 1939 году тетушка вышла замуж, уехала к мужу в Шувалово, и близкие контакты с ней я возобновил лишь после войны, когда она вернулась в Ленинград из эвакуации (кстати, она пережила все тяжелейшие месяцы блокадной зимы, а уехала, поддавшись на уговоры соседки, весной 1942 года).

Несколько слов о моих детских (т. е. довоенных) интересах и увлечениях. Брат матери – Евгений Иванович, живший в нашей квартире, привил мне любовь к географическим картам, сохраняющуюся у меня всю жизнь. Он же подарил мне небольшую (в шести или восьми томах, уже не помню) энциклопедию, с которой я буквально не расставался. Я любил читать, перечитал основные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Жуковского, которого я особенно любил, а также Жюль Верна, Вальтера Скотта (на меня почему-то особое впечатление произвел «Квентин Дорвард»), а позднее Шиллера и особенно Шекспира. У отца было несколько популярных, но роскошно иллюстрированных книг по астрономии, и я зубок знал основные характеристики всех планет Солнечной системы. Еще одним моим увлечением была палеонтология. Дело в том, что мы два или три раза ездили летом на родину мамы – в Калугу. Жили мы там у ее брата, в доме, расположенном недалеко от моста через Оку. А за Окой была фантастическая (для меня, во всяком случае) Можайка – так называли калужане высохшее русло реки, заполненное камнями, – но какими! Это были в основном окаменелые морские губки, раковины, фрагменты речного или морского дна с отпечатками растений или живых существ. Я собрал целую коллекцию таких сокровищ и даже подарил некоторые из них местному краеведческому музею. Сейчас я понимаю, что приняли мой дар из вежливости, чтобы не обидеть юного натуралиста: в музее была своя и очень ценная коллекция останков жизни Мелового и Юрского периодов. Очень интересовала меня античная мифология: я читал мифы и с восторгом разглядывал статуи богов и богинь в Эрмитаже, в Летнем саду и в парках Пушкина, Павловска и Петергофа. Я несколько раз бывал с мамой в Эрмитаже, где меня привлекала прежде всего скульптура и, как понятно, учитывая мой пол и возраст, – рыцарский зал. Мать пыталась учить меня музыке. Я с горем пополам и без всякого увлечения мог играть простень-

кие пьески, но больше интересовали меня сюжеты опер, особенно привлекало творчество Вагнера, и я просил родителей купить мне монографию о нем... на немецком языке, который знал, разумеется, на уровне пятого класса. Но книга была непомерно дорога, и мое безумное желание не встретило поддержки.

Мирная жизнь оборвалась 22 июня 1941 года. На этот день были уже куплены билеты для очередной поездки в Калугу, но она, разумеется, была отменена. Остался для меня загадкой мой сон в ту первую военную ночь. Проснувшись, я рассказал матери, что видел во сне, будто Германия, Финляндия и Румыния объявили нам войну. Страна узнала об этом, как известно, лишь в 12 часов дня (исключая, естественно, районы, подвергшиеся нападению). Я так пытаюсь объяснить свой «вещий сон». Рано утром по телефону срочно вызвали моего дядю, работавшего на заводе имени Марти (ныне – Адмиралтейские верфи). Обсуждая этот странный для воскресного дня вызов в коридоре около нашей двери, Евгений Иванович или моя мать, кажется, сказали: «Не война ли?». А так как я незадолго до того дня купил новую карту Западной Европы, где территория Польши была обозначена как «область государственных интересов Германии» (и это я уже обсуждал с дядей Женей), то, услышав сквозь сон слово «война», я мог домыслить, кто наши пограничные соседи. Помню и первую свою реакцию (особенно после выступления Молотова) – я приготовился расставлять флажки на карте, обозначая взятые Красной Армией города, естественно, на территории агрессора. Ведь мы были убеждены предвоенной пропагандой в том, что «если завтра война», то так и только так развернутся дальнейшие события.

В начале июля к нам в квартиру явилась строгая дама из райисполкома и настойчиво потребовала от моей матери подготовиться к срочной эвакуации. А через пару дней мы с чемоданом летней и осенней одежды (говорили, что эвакуация ненадолго) отправились на Московский вокзал. Везли родителей с детьми до 12-летнего возраста в обычных плацкартных вагонах. Привезли в город Углич. Там на вокзальной площади была устроена короткая, но теплая встреча. Пел самодеятельный хор. Потом стали рассаживать по подводам, приехавшим из окрестных деревень. Мы попали в деревню, которая называлась, кажется, Нижние Вырки. Нас приютили две очень хорошие женщины: старушка и ее пятидесятилетняя дочь. Мы прожили в деревне три или четыре месяца. Из впечатлений той поры самым

ярким была моя «встреча» с немецким летчиком. Я шел через поле в село Маймеры<sup>6</sup> за хлебом. Вдруг поблизости к самой земле спустился «на бреющем полете» немецкий самолет. Летчик широко улыбнулся и даже помахал мне рукой. Мое недоумение от его дружелюбности рассеялось, когда самолет, зайдя мне в спину, открыл огонь из пулемета. Я бросился бежать. К счастью, недалеко протекал ручей, русло которого густо заросло кустарником. Нырнув в кусты, я упал, поскользнувшись на камне, а поднявшись, побежал прямо по дну неглубокого ручья в противоположную сторону. Это меня и спасло: летчик, вновь развернувшись, подлетел к ручью и стал поливать из пулемета кусты в том направлении, в каком я подбежал к ручью. Подобные случаи «охоты» за отдельным человеком повторились, и их объяснила, по слухам, сбитая и взятая в плен юная немецкая летчица: сюда, в тыл, прилетали обучавшиеся пилоты потренироваться на живых мишенях. Кстати, меня, воспитанного как патриота, покоробили услышанные в деревне слова: «Нам все равно на кого работать, на Гитлера или на Сталина».

В сентябре я покинул Ярославскую землю. Ушосдор, где работал отец, эвакуировали в город Устюжну Вологодской области, и мы с матерью переехали к нему. Небольшой город Устюжна, как говорили, вырос по численности жителей вдвое: несколько ленинградских учреждений эвакуировали сюда сотрудников с семьями. Эвакуированные получали карточку на хлеб (400 граммов, если не ошибаюсь) и ничего более. Правда, в городе был рынок, но для большинства ленинградцев он был не по карману. Я запомнил некоторые цены: крынка сметаны стоила 170 рублей, килограмм муки 1600. Зарплата моего отца составляла 400 рублей, из которых надо было еще платить хозяйке за квартиру. Первое время эвакуированные меняли на рынке свои вещи, пока они не кончились. Но и это было делом сложным. Продавцы продуктов выдвигали свои жесткие требования: «Нужны новые галоши на обувь 42 размера», «Нужно дамское новое осеннее пальто 38 размера» и т. д. Нас с матерью изредка выручали «зайцы». Эвакуированная из Ленинграда первоклассная портниха сумела найти заказчиков в среде городской элиты. Обрезки ткани она отдавала моей матери, и та шила из них очаровательных зайцев. Так как игрушек в магазинах не было, мне удавалось обменивать на рынке зайца на свежее яйцо или маленькую баночку сметаны. Но это не спасало, мы голодали. У меня опухли ноги, тело покрылось струпьями. Школу пришлось бросить (я учился в шестом классе). Тяжела была и обста-

новка. Мы жили в доме матери городского военкома, которую в городе называли «Анна-ведьма», что вполне соответствовало ее нраву. Помимо постоянно проживавших у нее эвакуированных (я с матерью и отцом, девушка-эстонка, портниха) в ее доме останавливались на сутки-двое военные. <...> Иногда хозяйка заглядывала в комнату эвакуированных и издевательски сообщала: «Эй, кувыренные (так она нас именovala)! Я в нужник сметану вылила. Пойдите, похлебайте!». Анна-ведьма не разрешала слушать радио, что для нас, ждавших известий с фронтов, было особенно тяжело. В защиту ее сына военкома скажу, что он мать осуждал и почти не поддерживал с ней отношений.

Как-то среди эвакуированных разнесся слух, что приехал инженер из Ленинграда, который готов рассказать о городе. Собралось несколько десятков слушателей. Инженер ничего не говорил о голоде, а лишь о колоссальных разрушениях. По его словам, например, Зимний сгорел, упал даже шпиль сгоревшего Адмиралтейства. Когда я спросил о своей улице Марата, он словоохотливо и со знанием дела поведал, что на улицу упал самолет с бомбами, и квартал, где находился мой дом, полностью разрушен. Потом «инженер», как он представлялся, вдруг заторопился, сказал, что его ждет машина, и ушел, оставив зареванных женщин. Ни один из приведенных им «фактов» не подтвердился. Видимо, это был не просто фантазирующий паникер, а провокатор, посланный посеять панику среди эвакуированных ленинградцев.

В 1942 году Ушосдор перевели в освобожденный от немцев Тихвин. Город находился в прифронтовой зоне, и семьям сотрудников въезд туда был закрыт. Мы с матерью остались в Устюжне. А в феврале 1943 года у нее случился инсульт, ее парализовало. С помощью знакомого врача-ленинградки (ее не взяли на фронт, так как у нее была полугодовая дочь) удалось отвезти мать в переполненную больницу. Но когда я на следующее утро пришел ее навестить, то вышедшая навстречу санитарка с сочувствием сказала страшные слова: «А мамочка твоя, мальчик, умерла». Это случилось 14 февраля 1943 года.

Сейчас уже не могу вспомнить, по чьему совету я пошел в исполком, и оттуда в Тихвин были отправлены две телеграммы. Одна от меня отцу: «Мама очень тяжело больна. Немедленно приезжай» (я боялся убить отца известием о ее смерти), другая – начальнику Ушосдора от исполкома. Отец потом рассказывал, что сначала ему отказали в разрешении поездки, а буквально через полчаса вызвали к начальнику и разрешили ехать. В то время между Тихвином и Устюжной



постоянно курсировали служебные машины, так как какие-то учреждения функционировали по двум адресам.

Хлопоча о вызове отца, я ходил по городу в мокрых валенках (резко потеплело, началась распутица, а другой зимней обуви у меня не было), простудился и заболел. Когда в тот вечер я сидел за столом при свете коптилки (электричества почему-то не было), дверь в комнату отворилась и вошла мать. Я обомлел – ведь за несколько часов перед тем видел ее тело в морге. Мать села напротив меня и, посидев немного, не говоря ни слова, вышла. Тогда я завопил диким голосом, вскочил и потерял сознание. Прибежавшая на крик соседка нашла меня лежащим на полу. С помощью все того же врача-ленинградки меня отвезли в больницу. <...> В больнице я пришел в себя лишь через сутки, когда пошла горлом кровь. Я застонал. Медсестра сходила за врачом. Та посоветовала: «Не трогайте его. До утра все равно не доживет». Услышав этот приговор, я снова потерял сознание, а когда сутки спустя все же пришел в себя, то стал робко шевелить мизинцем, проверяя, жив ли я. Приехавшему в Устюжну отцу сказали: «Или мальчик съест за неделю полкило сливочного масла, или умрет». Отец отнес на рынок все материнские вещи, выменял их на масло и кормил меня бутербродами, пока я не поправился. Я был спасен, хотя каверна на легком просматривалась во время флюорографии еще несколько лет.

Встал вопрос, как переправить меня в Тихвин. Город находился в прифронтовой зоне, и въезд туда требовал специального разрешения. Пошли на хитрость. Машина Ушосдора везла в Тихвин ватники для рабочих. Меня запихнули в дальний угол кузова и завалили ватниками, оставив лишь щель, чтобы не задохнулся. Дали мне в дорогу две печеных картошки, которые я сжевал под удушающий запах выхлопных газов. С той поры уже один вид печеной картошки вызывал у меня тошноту. Машину по пути досматривали, но «зайца», к счастью, не обнаружили. Приехали в Тихвин ночью, а уже утром следующего дня на меня оформили «вызов», и я вышел на работу, в гараж. Однако затем решили перевести меня в счетоводы, под начало отца. Он был ко мне очень требователен. Я проработал счетоводом чуть более года. Сразу ушло детство: работа была ответственной, любая ошибка могла привести к тому, что люди остались бы без довольственного пайка. К счастью, я ошибся только один раз: не зная, что из командировки вернулся инженер, я не поставил его на довольствие. Промах я тут же исправил, а память сохранила стишок тех

дней: «Что сегодня так взъерошен инженер-капитан Ерошин? А Олежа-паренек ему не выписал паек».

Город Тихвин представлял в те дни жуткое зрелище: целые улицы выгорели, стояли рядами только закопченные трубы. Мы с отцом жили в крохотной комнатухе. Самое тяжелое впечатление от житья в Тихвине оставил не голод: нам причиталась половина солдатского пайка, поэтому в служебной столовой не густо и не вкусно (чего стоили одни щи из хряпы<sup>7</sup>), но кормили. Страшнее было другое: деревянный домишко, в котором мы жили, кишел паразитами: платяными вшами и особенно клопами, которые буквально сыпались из щелей деревянных перегородок. Хозяйка дома пыталась с ними бороться, но без особого энтузиазма, видимо, полагая, что раз в доме живут люди, должны быть и клопы. Но самым ярким впечатлением от тихвинского житья осталась бомбежка. Первые месяцы в Тихвине прошли тихо. Над городом пролетали немецкие самолеты-разведчики, постреливали зенитки, расчеты которых состояли в основном из девушек, и на этом дело кончалось. Но после прорыва блокады Ленинграда и восстановления железнодорожного сообщения с городом по дороге, проложенной севернее находившейся под немцами Мги, Тихвин обрел значение важного железнодорожного узла. И в один из дней железнодорожник, живший в соседнем доме, сказал нашей хозяйке: «Что-то сегодня станция забита: и составы с боеприпасами, и санитарные поезда. Как бы не налетели немцы». И как в воду глядел. Массированный налет продолжался с десяти часов вечера до двух часов ночи, одна волна самолетов сменяла другую. Девушки-зенитчицы постреляли было, но после бомбового удара по их позициям замолчали и, как поговаривали, разбежались. Во всяком случае, ни одного выстрела зениток больше не прозвучало. Станция превратилась в ад: загорелись вагоны с боеприпасами. Трассирующие пули разноцветными фонтанами разлетались над охваченными пламенем вагонами, тяжело подались и вознеслись над землей черные цистерны с нефтью. Вдруг из моря пламени вырвались и помчались к пригородному лесу несколько вагонов: оказалось, что какой-то герой-машинист сумел отцепить от уже загоревшегося состава вагоны со снарядами и противотанковыми минами и оттащить их в лес. Не сделай он этого, прилежавший к станции район города был бы стерт с лица земли. С пылающей станции медсестры волокли раненых из санитарных вагонов, кто мог, ковылял сам, опираясь на костыли или на плечи товарищей. Наш дом находился недалеко от станции, поэто-

му я видел все это достаточно хорошо. С нашего двора унесло, словно картонный домик, туалет, вышибло все рамы, много осколков вонзилось в стены. В начале бомбежки у меня сдали нервы, и я сказал отцу: «Папа, а как жить хочется!» (отец впоследствии с иронией напоминал мне об этом возгласе), но потом, как замороженный, стоял на крыльце, хотя рядом впилося несколько осколков. В подвале дома спрятались женщины, каждый вой падающей бомбы они сопровождали своим истерическим криком. Помню жутковатую сцену: прибежавшая со станции обезумевшая от страха женщина тщетно пыталась перелезть через забор, пока ее силком не провели через находившуюся рядом калитку. Наутро оказалось, что на протяжении сотен метров рельсы на станции были выкорчеваны взрывами бомб. И все же через несколько дней движение поездов было возобновлено – потрудились железнодорожные войска.

Следующий налет был через несколько дней. Снова завывали сирены, заревели гудки паровозов, но дальше все произошло «ровно наоборот»: сменившие девушек зенитчики-фронтовики сбили два или три самолета, с улиц города вели огонь по пикирующим самолетам установленные на грузовиках счетверенные зенитные пулеметы. Сбросив несколько бомб на окрестности города, немцы улетели.

Осенью к моему восторгу сообщили, что Ушосдор возвращается в еще заблокированный Ленинград: готовились к снятию блокады, и Ушосдор, принявший на себя еще и заботы по строительству полевых аэродромов, должен был быть ближе к фронту. 4 декабря 1943 года мы вернулись в Ленинград.

Везли нас в теплушках. Когда проезжали самый опасный участок пути, где до немецких позиций было рукой подать, нам было велено открыть настежь двери теплушек и разойтись по углам. И действительно, как только мы доехали до зловещего отрезка пути, где вдоль полотна валялись искореженные снарядами вагоны, немецкие прожектора стали прощупывать наш состав. Но увидев пустые, как им показалось, вагоны, немцы не стали тратить на них снаряды, так как каждый выстрел вызывал немедленный ответ нашей артиллерии. Доехали благополучно. К городу подъехали со стороны Финляндского вокзала, а затем по окружной дороге выехали на пути Московской сортировочной. Первое впечатление: небо над городом беспрестанно озаряется какими-то вспышками. Потом я понял: это искры от соприкосновения трамвайных дуг с проводами. В освещенном городе мы их не замечаем.

Машину нагрузили коробками со служебным имуществом, связали их веревками, а меня посадили сверху – смотреть, чтобы ничего не упало и не потерялось. Я голыми руками вцепился в веревки, припорошенные снегом (забыл достать рукавицы, а потом уже было поздно, отпустишь руки – свалишься), и так проехал весь Невский, жадно рассматривая все вокруг. Именно тогда я убедился, что «инженер», посетивший Устюжну с рассказом о разрушении Ленинграда, был провокатором: Невский проспект был цел, и хотя следы обстрелов были повсюду, полностью разрушенных зданий на Невском было не много.

Мы с отцом поселились в здании Ушосдора на улице Пролеткульта (ныне – Малая Садовая), так как наша комната была занята. Спали на своих рабочих столах. «Прикреплены» (то есть получили право обедать и ужинать) мы были к Метрополю, превратившемуся из известного ресторана в обычную столовую. Окна в нем были заколочены фанерой, в залах стоял полумрак, однако соевые шроты вам могли подать на фирменной фарфоровой тарелочке. Естественно, я старался обойти окрестные улицы и убедиться, что город хотя и изранен, но жив. И Зимний не сгорел, как утверждал провокатор, и шпиль Адмиралтейства, одетый в маскирующий чехол, стоял на месте. Сходил я и на улицу своего детства – улицу Марата. Она не очень пострадала, зато соседняя – Боровая – была сильно разрушена, туда действительно упал сбитый самолет. И запомнилась фантастическая деталь: от многоэтажного дома уцелела одна стена, и на ней, на уровне четвертого этажа, висело чудом уцелевшее зеркало.

Как отмечалось в сводках Совинформбюро, декабрь 1943 года был месяцем особо интенсивных обстрелов, когда по городу выпускалось в день до четырех тысяч снарядов. А всего на 1943 год пришлось 45 процентов всех снарядов, выпущенных по городу. И вот в один из декабрьских дней я шел по Кировскому мосту на Петроградскую сторону, где находился склад Ушосдора. Был ясный солнечный день, и начался один из самых интенсивных обстрелов. Я остановился и воскликнул: «Я должен это запомнить на всю жизнь!». И благодаря этому романтическому порыву запомнил. Не было секунды, когда над городом не пролетал бы снаряд. Чаще всего завывали высокими голосами снаряды небольшого калибра, а время от времени, словно гигантский шмель, гудел снаряд дальнобойной крупнокалиберной артиллерии, оседлавшей тогда Воронью гору.<sup>8</sup> И то здесь, то там над крышами домов поднималось облачко от разрыва снаряда.

Я подчеркиваю – не было ни одной тихой минуты, рев снарядов не прерывался весь день.

Другой, уже более личный эпизод. Я должен был отнести документы в банк на Фонтанке. Мой путь пролегал по улице Росси, которую народная молва считала самой безопасной: она, дескать, идет под углом к линии фронта. Начался обстрел. Я дошел до памятника Екатерине, но, охваченный мальчишеским азартом, решил: «Нет, я пойду не по улице Росси, я пойду до Аничкова моста посередине Невского проспекта!». Я уже не раз ходил так во время обстрелов, уступая дорогу редким автомашинам (сейчас это трудно себе представить на Невском, трамваи же во время обстрела не ходили), во все горло распевая антифашистские песни. Редкие милиционеры, видимо, понимая патриотический смысл моего поведения, меня не останавливали. И как только, приняв это решение, я вернулся от памятника Екатерине к калитке, выводящей на Невский, возле калитки, выходящей к Александринке, разорвался снаряд. Если бы не мой антифашистский демарш, я бы не смог писать сейчас эти воспоминания.

Еще один случай, скорее комичный. Я был послан на Литейный проспект отнести на подпись какие-то бумаги по снабжению в дом, где теперь, кажется, какое-то статистическое управление. Подписав, пошел к выходу. И когда я нащупывал ногой ступеньку широкой лестницы в погруженном во мрак вестибюле, дом содрогнулся. Было ясно – в него попал, но не разорвался, снаряд. От сотрясения дома я потерял равновесие и скатился по лестнице, скользя на подковах своих солдатских сапог, чудом не упав. Старушка-вахтерша с криком «Снаряд!» выбежала на улицу, а я бросился к ее столу пересчитать при свете лампочки свои бумаги – не потерял ли я одну из них во время своего головокружительного «съезда» с лестницы. Бумаги были целы. Но тут с улицы вбежали девушки из частей МПВО:<sup>9</sup> вахтерша убеждала их, что с лестницы скатился снаряд. «Нет, – сказал я, – с лестницы скатился я, но снаряд в дом попал, ищите».

Была мне уготована и еще одна погибель. Я шел по берегу Лебяжьей канавки. Морозило, и я, к счастью, опустил и завязал уши своей солдатской зимней шапки. И вдруг мне показалось, что кто-то сильный поднял меня и перебросил через канавку, где я упал в мягкий, недавно выпавший снег. Оказалось, что рядом со мной разорвался снаряд. Я поспешил посмотреть, почему же меня все-таки не разорвало. Выяснилось, что снаряд попал в открытый канализационный люк. Дерево, стоявшее рядом, срезало осколками, а на мою долю дос-

талась лишь взрывная волна. От контузии уберегла шапка. Много лет потом об этом случае напоминал «памятный знак» – тощенькое, вновь посаженное деревцо на месте старого, сраженного разрывом.

В дни интенсивных обстрелов я сделал, не знаю насколько верное, заключение: немцы выпускали с одного положения орудия по три снаряда. Они и разрывались, естественно, с небольшим временным интервалом и недалеко друг от друга. Так что, услышав поблизости разрыв, жди еще два где-то рядом. Как-то я попал в центр такого «треугольника»: после первого разрыва я заскочил в парадную дома, затем последовал грохот проламываемой стены и глухой мощный взрыв где-то совсем рядом, и наконец третий разрыв неподалеку. «Теперь можно выйти», – решил я. В доме напротив зиял огромный пролом. Но где же разорвался снаряд? Я вошел в ворота дома и все понял: снаряд, пробив два этажа дома, вылетел во двор и разнес стоявший там флигелек. Если в нем жили люди, то они, отгороженные от опасного юга огромным домом, были, вероятно, уверены в своей безопасности. Но события войны непредсказуемы.

14 января 1944 года началось наше наступление под Ленинградом. Первый удар был нанесен с Ораниенбаумского пятачка, – мы уже днем узнали об этом, так как там находился наш участок. На следующий день утром я выходил, позавтракав, из «Метрополя», к которому мы были, как уже говорилось, «прикреплены». Старушки-пенсионерки столпились в дверях, с тревогой прислушиваясь к нараставшему гулу канонады. Кто-то испуганно закричал: «Немцы сметают город!». Тогда я решил, что уже можно сказать правду, и закричал в ответ: «Это началось наше наступление!». Мой полувоенный вид – шинель, сапоги – придавал весомость словам тщедушного подростка, и народ успокоился. Гул канонады все нарастал, прерываясь могучим уханьем – выстрелами кронштадтских фортов. Над южными окраинами города стояло зарево, хотя уже давно рассвело. Мне показалось (а может быть, так и было), что я услышал тысячеголосое «Ура!», когда перешли в наступление наши войска от Пулкова.

В счастливый день первого ленинградского салюта я стоял на углу Невского и Пролеткульта (Малой Садовой), у Елисеевского магазина. В Екатерининском сквере стреляли ракетницы. Народ вокруг кричал, прыгал, плакал от радости. Мы понимали, что блокада кончилась.

<...>

Самым страшным в те годы была утрата продовольственной карточки. Правда, ее можно было купить на рынке, но за немалые деньги.

Поэтому основной целью размножившихся тогда воров-карманников было именно похищение карточек. Помню такой случай. В магазинах, к которым мы все были «прикреплены», после объявления об очередной выдаче продуктов по карточкам тут же возникали очереди. Стоял в такой очереди и я. В магазине – не протолкнуться. Лишь у окна оставалось свободное место, и именно там возникли юноша и девушка. Выбрав момент, когда стало сравнительно тихо, они стали нарочито громко беседовать на сексуальную тему, обильно сопровождая свои слова ненормативной лексикой. Очередь, состоявшая в большинстве своем из пожилых женщин, возмущенно загудела, тщетно пытаясь образумить нахалов, но те продолжали свою «откровенную» беседу. И вдруг разом умолкли и выскочили из магазина. А через пару минут раздался испуганный возглас: «Ах, батюшки, меня обокрали!». Потом другой: «И карточки, и деньги!». Всего обнаружилось четверо или пятеро пострадавших. Стало ясно, что «сексуально озабоченная» пара отвлекала внимание толпы, которую обрабатывали их подельники.

Как уже сказано, я вернулся в Ленинград с Ушосдором, где работал счетоводом. Но мне было стыдно за свою «женскую» профессию, да еще в годы войны, и я решил уйти на завод. В то время это было непросто: требовался «вызов». К счастью, мне помогла устроить его сестра жены моего дяди, умершего в дни блокады.<sup>10</sup> И вот в апреле 1944 года я, счастливый, иду в Почтовый ящик № 568 – завод при конструкторском бюро и становлюсь учеником слесаря. Завод сильно пострадал от бомбежки. Рассказывали (не знаю, насколько достоверна эта версия), что бомба попала именно в тот момент, когда один из цехов завода, где на ночь была снята светомаскировка, вдруг засиял: включились все лампы в здании. Охрана бросилась к рубильникам – все они были выключены. Ток шел по потайному подземному кабелю. Вероятно, это была заблаговременно подготовленная диверсия – кабель уходил за пределы завода.

Моим наставником был Василий Иванович Иванов, старый питерский рабочий, с дореволюционных лет знавший Михаила Ивановича Калинина, работавшего одно время на том же заводе. <...> Василий Иванович крайне неодобрительно относился к стахановскому движению, он ценил лишь качественную и красивую на вид («хоть на выставку посылай!») работу. Так он и учил меня относиться к каждой изготавливаемой детали. Разумеется, подобные принципы не нравились начальству, но Василия Ивановича ценили за «золотые руки». В процессе обучения меня, рвавшегося скорее «делать снаряды»,

очень огорчило задание – выбить цифры на номерках для гардероба заводоуправления, которое должно было скоро вернуться в Ленинград. Но вот наконец я в цеху, точнее, в одном из его подразделений, подчинявшемся непосредственно конструктору Вишневскому, носившему официальное звание главного конструктора боеприпасов Советского Союза.<sup>11</sup> Его кабинет находился в том же здании, что и наш цех. Явившись по вызову, я обычно заставал генерала сидевшим на столе перед грифельной школьной доской в густо накуреном кабинете. Он набрасывал на бумаге чертеж образца, который я должен был изготовить. Технические пояснения генерал излагал, обильно пересыпая речь звучным матом. Это имело свое объяснение: перед 1937 годом наш завод посетил сам Тухачевский. Этого было достаточно, чтобы всех его собеседников отправили в лагерь. Возвратили их уже в ходе войны и даже вернули, с соответствующими коррективами, звания. Но, как мне казалось, генералу хотелось лишний раз напомнить о перенесенных им совершенно незаслуженно страданиях.

Временами нам приходилось выполнять весьма рискованные задания. На завод привозили трофейные «адские машины» – взрыватели замедленного действия с часовым механизмом. Наши инженеры разбирали их, чтобы понять устройство и выработать способы обезвреживания. Для этой операции в цеху существовала бетонная камера в виде улитки. В центре стоял верстак с тисками, высоко под потолком горела мощная лампа, которую прикрывали несколько слоев прозрачного пластика. В «улитку» заходили двое: инженер разбирал «адскую машину», фиксируя на бумаге каждую операцию, и после каждой операции его помощник выносил из «улитки» записку с описанием сделанного. Мне посчастливилось дважды или трижды участвовать в качестве помощника в разборке. Так как я был еще несовершеннолетний, то всякий раз должен был письменно подтверждать свое добровольное согласие. Я делал это с радостью и гордостью. Кстати, важная деталь, которая, может быть, удивит кого-то в наше эгоистическое время: нас, мальчишек, в цеху было трое, и все мы работали, как и взрослые, по двенадцать часов и были бы оскорблены, если бы нам предложили воспользоваться своим правом на восьмичасовой рабочий день.

Несколько месяцев мне пришлось трудиться только в ночную смену. Работа, которую предстояло сделать, была связана с риском: одно неверное движение – и мог произойти взрыв. Поэтому на ночь в цеху оставались только двое: я и моя напарница, если не считать



заводских крыс, которые нагло наведывались к нам, привлеченные запахом соевого молока, выдаваемого «за вредность». Я с удовольствием брался за эту работу: риск приятно щекотал нервы и успокаивал совесть, что я не на фронте, а в тылу. Не нужно думать, что я был каким-то героем – так в те дни рассуждали многие. Как-то моя напарница заболела, и мне пришлось отработать «максисмену» – тридцать два часа. Когда я возвращался домой на трамвае, то умудрился заснуть стоя, повиснув на поручне. На другой день мне прислали помощницу – очень эффектную секретаршу директора. В недавнем прошлом она работала в отделе технического контроля и еще не растеряла за канцелярским столом трудовые навыки. Мне эта замена оказалась очень кстати. В середине ночи в цех наведывался директор (он жил тогда в своем рабочем кабинете) и забирал мою напарницу «на часок». В качестве компенсации я получал внушительный бутерброд с колбасой, который, чтобы не волновать голодных крыс, тут же съел, запивая соевым молоком.

Раз мне пришлось серьезно поволноваться. Инженер принес «адскую машину». Она уже «включилась» – часовой механизм заработал, а ключ, которым можно было отсоединить капсюль-воспламенитель от детонатора, сломался. Я тут же сделал из заготовки новый ключ, приготовился отсоединить детонатор, но... взрыватель пропал. В закуток, где я работал, никто не заходил, а взрыватель куда-то подевался. Обливаясь холодным потом, я сел и прислушался. Услышав тихое тиканье, понял: взрыватель где-то здесь. Оказалось, я в спешке заслонил его чертежом. Мельком взглянул на оставленные инженером часы (своих у меня еще не было) – до взрыва оставалось несколько минут. Но никто не знал, насколько точно сработает механизм, и время взрыва инженер рассчитал наобум. И вот я отворачиваю ключом капсюль-детонатор, бросаю его в специальную яму в бетонном полу и прикрываю тяжелой чугунной крышкой. И в это время на столе раздается щелчок – сработал капсюль-воспламенитель. Если бы я задержался на минуту-другую, случилось бы непоправимое.

Но работа в нашем цеху была не самой страшной. Как-то мне и моему товарищу было велено идти в сборочный цех погрузить ящики с «изделиями». Их рабочие заболели. Мы пришли в сборочный, где ни разу не были (он, как и наш, был строго секретным), перешагнули порог и сразу же оказались во власти новых впечатлений. Во-первых, цех был залит ярким электрическим светом, тогда как в нашем цеху был полумрак – горели лишь лампочки на верстаках и у станков. На

длинных столах, застланных белой тканью, стояли рядками детали взрывателей: желтые, красные, белые. Во-вторых, в цеху стоял удушливый запах взрывчатки, который, впрочем, мы скоро перестали ощущать. В-третьих, работницы цеха, а это были девушки и молодые женщины, все как одна были с желтыми, лимонного цвета лицами. Тот запах, который мы поначалу чувствовали, но вскоре перестали ощущать, делал свое страшное дело – судьба работниц была печальной, они заболели, и многие из них умирали. До войны на этом производстве работали по четыре часа в день на пятидневке, теперь же – по двенадцать и без выходных.

<...>

День Победы – 9 Мая 1945 года мы встретили на заводе, куда явились, как всегда, к половине восьмого. Но, естественно, не работали, а пировали. На закуску нам выдали кислой капусты и, кажется, вареной картошки. Пили разбавленный технический спирт. Все были счастливы.

Вспомню и еще одну деталь тех лет. Демонстрации по праздникам – 1 Мая и 7 Ноября – в первые послевоенные годы еще не превратились в формальность и принудилровку. Напротив, все поголовно приходили на демонстрацию, видимо, воспринимая ее как символ вернувшейся мирной жизни. Царила обстановка всеобщего братания: в буфете можно было запросто чокнуться с мастером, а то и с начальником цеха. В первом ряду нашей колонны на демонстрации шли два генерала – два главных конструктора боеприпасов Советского Союза.

Летом, кажется, 1945 года, нас, парней с завода, отправили, как мы посчитали, в отпуск: ломать баррикады на Малой Охте. Нам достался огромный дом по северной стороне Таллинской улицы.<sup>12</sup>

Вернувшись в Ленинград, я продолжил свое образование. Экзамены за шестой класс я сдал экстерном еще в Тихвине, все на пятерки, кроме немецкого языка, за который получил четверку (его я сдавал ставшей вдруг учительницей девице из десятого класса) <...>. Осенью 1945 года я пошел в седьмой класс школы рабочей молодежи на улице Рубинштейна, который окончил с отличием. По совету отца, убежденного «технаря», я поступил на вечернее отделение техникума, но, проучившись несколько месяцев, бросил – математика и черчение оказались мне не по зубам. Осенью 1947 года я поступил в восьмой класс школы рабочей молодежи № 91, которую, с перерывом на армию, окончил в 1953 году. Директором школы был историк Карл Иванович Паюпу,<sup>13</sup> которого мы безмерно уважали и боялись: он был

строг к нарушителям дисциплины и лодырям. Я тоже не был ангелом. Как-то мы с приятелем Фимой Финкельштейном, работягой-токарем, признались, что боимся контрольной. «Так сбегите», – подзадорила нас первая красавица класса Генриетта. Вдохновленные ею, мы решили бежать через окно (школа находилась на первом этаже), чтобы не попасться на глаза директору. Но, очутившись во дворе без пальто и шапок, скоро поняли свою глупость: проторчать на улице до начала следующего урока, то есть почти час, было невыносимо, хотя и была оттепель. Но Фима нашел выход: мы зашли в парикмахерскую, находившуюся в том же или соседнем доме, заняли очередь, просидели там сорок пять минут, а затем, к удивлению и радости посетителей, заявили, что ждать больше не можем, и ушли. Однако справедливость восторжествовала: Карл Иванович как-то узнал о побеге и объявил нам выговор.

В 1945 или 1946 году вернулась в Ленинград из эвакуации моя тетушка Сусанна с мужем, инвалидом войны (он вступил в народное ополчение и был тяжело ранен в первом же бою), и маленькой дочкой Татьяной. Мужу тетушки – Николаю Андреевичу Шубину – я безмерно благодарен: страстный любитель поэзии, именно он познакомил меня со стихами Маяковского, Гумилева, Бальмонта, Северянина и других поэтов. Интересна история его библиотеки. Его довоенная библиотека погибла: после отъезда тетушки в эвакуацию в их доме в Шувалово, на берегу второго [Среднего] Суздальского озера, располагалась воинская часть, и книгами, видимо, растапливали буржуйку. После войны Николай Андреевич как-то поехал на барахолку (по современному – вещевой рынок), располагавшийся на южном берегу Обводного канала, там, где сейчас автобусный вокзал. На этой барахолке можно было купить все. Я, например, покупал там комбинезон для работы в цеху и солдатские ботинки. Набив на них железные подковки, можно было смело ходить по полу, усеянному металлической стружкой, не боясь разрезать подошву. И вот на этой барахолке Николай Андреевич наткнулся на тетку абсолютно неинтеллигентного вида, торговавшую тем не менее книгами, найденными ею, скорее всего, в опустевшей квартире умерших блокадников – петербургских-ленинградских интеллигентов. Торговка пыталась всучить покупателям роскошные книги по искусству <...> А на самом краю тряпки, на которой были разложены книги, ютилась стопочка невзрачных брошюр в бумажных обложках – это были дореволюционные сборники стихов поэтов Серебряного века. У Николая Андреевича перехватило

дыхание: денег у него, жившего на небольшую пенсию по инвалидности и столь же небольшую зарплату жены – серебрильщицы на ГОМЗЕ, было крайне мало. С деланной небрежностью он спросил у продавщицы: «А это что?». «Стишки», – с нескрываемым презрением ответствовала торговка. «Взять что ли, почитать?», – задумчиво протянул, трепеща от волнения, покупатель. «Бери, недорого отдам», – сказала продавщица, удивленная, что нашелся чудак, заинтересовавшийся этим «хламом». И вот каждое воскресенье Николай Андреевич ездил через весь город, боясь одного: вдруг торговка узнает, какими сокровищами владеет, и взвинтит цену, которая будет ему не по карману. Но обошлось, не взвинтила. Николаю Андреевичу удалось собрать ценную, хотя и непрезентабельную с виду библиотечку. Я был ее счастливым читателем.

В 1948 году, когда я учился уже в девятом классе «вечерки», меня вызвали в военкомат и объявили о призыве в армию. Однако через неделю сообщили, что дают отсрочку до окончания девятого класса, а затем берут в военное училище. Но в конце ноября все же призвали. Как я отнесся к призыву? Признаться, я был рад. Жизнь моя была легкой: с половины восьмого утра на заводе, после работы – в школу. По пути я заходил в кафе-автомат на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна, съедал порцию макарон с котлеткой, запивая желудевым кофе, и спешил в школу, где занятия длились до позднего вечера. К тому же я совсем обносился, приличной одежды у меня не было. И наконец, важный моральный фактор: престиж армии был в те годы очень высок, и служить в ней было делом чести. Термин «дедовщина» в те годы не существовал, хотя зачатки ее уже давали о себе знать, но об этом дальше. Итак, я был призван. Дома по-мужски попрощался с отцом, он напутствовал меня пожеланием не уронить чести. Пришли попрощаться со мной и трое одноклассников, в их числе и та, которая чуть было не стала моей женой. Наутро я отправился на пункт сбора и иронически смотрел на голосивших матерей, которые бежали вслед за грузовиком, увозившим новобранцев на вокзал.

Курс молодого бойца мы проходили в Таллине. Жили в огромной казарме, вмещавшей, кажется, пятьсот солдат. Койки были сдвинуты по двое, на них спали по три человека. Кроме того, койки были в два или даже три (уже не помню) этажа. В нашей части в годы войны служил легендарный Александр Матросов. В казарме стояла мемориальная койка, застланная красным покрывалом. Однажды старослужащий сержант рассказал нам версию его подвига, отличную от офи-

циальной. По его словам, поползший к взлету солдат бросил гранату, но она не причинила взлету вреда, а боец был убит. Был убит и второй солдат, повторивший бросок гранаты. Матросов будто бы оскорбительно отозвался о погибших. Тогда однополчане потребовали, чтобы он сам уничтожил немецкий пулемет. Матросов пополз, кинул гранату, но она не долетела до цели. Тогда он и бросился грудью на взлет. Насколько точен этот рассказ, мы, конечно, не знали.

В Таллине мы познакомились с зачатками «дедовщины». На третий день службы меня остановил возле казармы старослужащий ефрейтор и заставил несколько раз ложиться на снег и вставать. Были случаи, когда в столовой старослужащие отнимали у нас бачок с едой и уносили на свой стол. Наши начальники-сержанты не вмешивались, не хотели портить отношения с ровесниками.

В январе 1949 года нас построили на плацу. Офицер зачитал около двух десятков фамилий <...> и приказал названным выйти из строя. Затем обратился к нам, оставшимся, со словами: «Вам выпала высокая честь защищать рубежи нашей Родины в составе Группы оккупационных войск в Германии! Направо! Шагом марш!». И мы направились на вокзал. Отправке в Германию (вызванные из строя остались служить в России) большинство из нас обрадовалось: любопытно было посмотреть Европу. И вот мы в теплушках едем через Прибалтику и Польшу в Германию.

Нас привезли в Тюрингию, в город Йена. Офицеры части, узнав, что все мы ленинградцы, встретили нас очень приветливо, щедро угощали куривших дорогими папиросами. Привели в столовую и, сытно покормив, приказали: «Кто хочет добавки – встать!». Встали почти все. После полугодовой жизни в Таллине «немецкий» обед (суп и перловая каша) показался чудесным. Нам объявили, что мы будем служить в тяжелом танко-самоходном полку. После гигантского таллинского «амбара» нас ждали строгие здания бывших эсэсовских казарм. Каждому взводу – просторная комната, каждому солдату – отдельная койка. В казарме натертый паркетный пол, в коридоре – кафельный пол, горячая вода в умывальнике, душевые... Лучше не придумаешь.

Мы стали курсантами полковой школы. Я попал во взвод, готовивший командиров САУ-100 – самоходных артиллерийских установок со 100-миллиметровым оружием. Учебная программа насчитывала восемнадцать предметов, занятия вели сержанты и офицеры, постоянно внушавшие нам, что танкисты – это элита армии. Больше всего

привлекали практические занятия – вождение САУ, боевые стрельбы. Допекали нас сержанты – помкомвзвода и особенно старшина роты, строго следивший за чистотой в казарме, за тем, чтобы постель была заправлена красиво и аккуратно. Каждый день перед отбоем нас выстраивали в коридоре, и старшина читал наставления, состоявшие из одних и тех же излюбленных им выражений, далеко не соответствовавших нормам литературного языка. Как-то я сочинил стишок, в котором приводил изречения нашего старшины. Там были такие строчки:

<...>

Пришел в казарму грустный, как луна.  
А тут беда совсем иного рода:  
Совет его зловеще старшина:  
«Вы убирали помещенье взвода?  
Уборщик будешь всю дорогу.  
Вот до чего уже дошли –  
Протерти тумбочки не могут  
И ходить по ухи в пыли.  
Окна протерть не могут даже,  
А чи (старшина заикался), как надо вам стоять?  
И помкомвзвод, и сам я также  
Буду наказывать опять».

Стишок тут же стал известен всему взводу. И когда вечером на традиционном построении старшина обратился к нам с хорошо известными словами: «Смотрел расположение. Плохо! Не могут тумбочки протерти, по ухи в пыли ходите», – вместо унылого молчания, обычно сопровождавшего его наставления, раздался взрыв смеха. Старшина в недоумении скомандовал: «Смирно!» и продолжил: «И помкомвзвод, и сам я также...». Курсанты вновь затряслись от смеха. Тогда он приказал нам разойтись и вернуться на построение с полными рюкзаками за спиной. Затем погнали нас на одну из окружающих город возвышенностей, прозванную солдатами за крутизну Сапун-горой. Я взмолился: «Давайте я признаюсь и объясню, в чем дело. Пусть меня одного и накажут». Но курсанты были решительно против этого. Когда нам, уже порядком подуставшим, приказали «запевать», то вместо размеренной строевой запевала пропел озорную «Конфетка моя леденистая...», а строй стал приплясывать. Старшина вернул нас в казарму и вызвал комбата. Тот только махнул рукой: «Не поймешь этих ленинградцев, что на них нашло?».

В учебном батальоне строго следили за нравственностью речи. Стоило кому-нибудь произнести непечатное слово, как следовал зычный окрик сержанта: «Кто сказал слово на букву “ха”?». Выяснив личность сквернословя, сержант или старшина назначали взыскание – один наряд вне очереди. Наряд состоял в следующем: нужно было вымыть длинный коридор в казарме. Старшине приносили ведро воды, он бросал туда несколько пригоршней опилок, а затем этот коктейль разливали по всей длине коридора. А так как пол в нем был покрыт рифленой плиткой, то на то, чтобы извлечь все опилки из пазов, уходило более часа-полтора. Как-то и я попал в подобную историю. На вечернем построении комбат обратился к нам с очередным внушением: «Когда в части непорядок, мы говорим – “бардак”. Но у вас хуже – пожар в бардаке». Этот образ вдохновил меня, я сочинил стишок «Пожар в бардаке», обильно насыщенный ненормативной лексикой, и на следующий день прочел его взводу во время чистки картошки для столовой. Стишок был принят с восторгом, но, на мою беду, его услышал через открытое окно проходивший мимо офицер – дежурный по части. Войдя к нам в подвал, где мы чистили картошку, он объявил мне «за чтение нецензурных стихов» (вопрос об авторстве, к счастью, поставлен не был) два наряда вне очереди! Наряда два, а коридор один. Как быть? А очень просто: когда я, вымыв коридор, где-то в первом часу ночи доложил об этом старшине, он велел снова принести ведро воды, снова насыпал опилки, и я вымыл коридор второй раз.

О моих поэтических опытах знали во взводе. Я писал стихи для своей девушки, писал по заказу друзей, поражавших далеких возлюбленных своими поэтическими «дарованиями». Как-то я написал стих – пародию на блатную песню, в котором были, в частности, такие строки:

Разошлись у нас с тобой дорожки,  
У меня доверья не проси:  
В Мраморном твои мелькают ножки,  
Фраер тебя возит на такси.

Для василеостровцев (а их было, кажется, трое в нашем взводе) эти слова были особенно значимы – они напоминали о Мраморном зале Дворца культуры имени Кирова, где регулярно проводились танцевальные вечера. Мой стишок обрел неожиданную популярность: одному из однопольчан эту песенку, уже несколько искаженную, прислала знакомая из Ленинграда как «песню, сочиненную кем-то в Германии».

Проблема верности оставленных дома подруг очень волновала солдат. Как только кто-либо узнавал об измене возлюбленной, он тут же являлся к старшине, получал у него пять или шесть боевых патронов и в сопровождении близких друзей и сержанта отправлялся на стрельбище. Там на столб прикреплялась фотография изменщицы, и оскорбленный солдат посылал в ее веселую на фотографии мордашку шесть пуль. Если же рука у бедняги дрожала, «обряд наказания» выполнял его друг.

Но вернемся к стихам. Однажды мое стихоплетство принесло явную пользу. Был объявлен конкурс на лучшую самодеятельную (т. е. самими сочиненную) строевую песню о танкистах. Наш запеваля, обладавший могучим голосом и безупречной дикцией, попросил меня, чтобы в песне было побольше раскатистых «р». Заказ я выполнил, и когда он проревел «и мечутся танки, попав в западню, / и взрыв разрывает на клочья броню», трибуна, на которой сидели офицеры, взорвалась аплодисментами. Мы завоевали на конкурсе первое место.

Учили нас хорошо. Приведу лишь один пример. Самоходка, вооруженная мощным 100-миллиметровым орудием, не может, как танк, стрелять с ходу, она стреляет после короткой, не более пяти секунд, остановки. Поэтому важно было научиться быстро наводить орудие на цель. Для этого придумали такое упражнение: к стволу орудия на специальном приспособлении крепился карандаш, на стенде вешался лист бумаги, и курсант должен был стволом орудия написать на этом листе бумаги печатными буквами свою фамилию. Так вырабатывалось умение управлять механизмами наводки.

И еще одно воспоминание. Как-то на занятиях по тактике комбат с двумя курсантами пошел на рекогносцировку. Идем, и вдруг он словно бы с огорчением говорит: «Стреляют. Ложись!». И далее мы ползем. Комбат снова говорит: «Газы!», и далее мы ползем уже в противогазах, перебираемся через какую-то топь, мокрые и грязные. Ведь комбат, участник войны, вправе был сказать, что он свое уже отползал, а теперь наша очередь. Не сказал, а пополз вместе с нами.

На последнем построении, после завершения учебной программы, комбат выступил перед нами и сказал: «Я знаю, что вы меня не любили, что за глаза называли “пила”. Но я хотел выучить вас так, чтобы в бою, если придется вновь воевать, вы бы остались живы». И сейчас, по прошествии более полувека, я вспоминаю комбата с уважением <...>

Из учебного батальона я был выпущен сержантом, но не попал, как рассчитывал, в полк. Нас, лучших курсантов, оставили в батальо-



не на должности помкомвзвода учить солдат следующего призыва. Вот тогда мне и довелось начать свою педагогическую деятельность: офицеры охотно перепоручали мне свои курсы – по материальной части самоходки, по огневой подготовке, по тактике, а также лекции по международному положению. Однажды я читал такую лекцию батальону, и вдруг раздался крик дневального: «Батальон, смирно!». Оказывается, нагрянула инспекторская проверка. Проверяющие зашли в аудиторию и увидели, что замполит мирно «дремлет» в углу, а лекцию читает сержант. Мне разрешили окончить лекцию, а потом отвели в другую аудиторию, дали бумагу, поставили у двери часового (чтобы никто не вошел) и велели мне письменно ответить на три вопроса по внутреннему и международному положению. Сейчас я помню только один из них: «Положение в Индонезии» (там была в те дни какая-то заварушка). Прочитав мои ответы, полковник из состава инспекции пообещал, что даст мне рекомендацию для поступления в военно-политическое училище.

В этом же году у меня были и большие неприятности. Как-то на вечерней поверке объявили, что наша рота завтра дежурит, мой взвод идет разгружать вагон с углем, а другой взвод – чистить картошку. На следующий день мы разгружали вагон. Курсанты вернулись усталые и чумазые; помылись, поужинали и легли спать – уже пришло время отбоя. Но тут в казарму явился помощник дежурного по части, младший лейтенант, ведавший в дивизии физкультурой. Он приказал мне вести мой взвод на чистку картошки. Я объяснил, что мы только что вернулись с разгрузки угля, а чистить картошку должен по приказу другой взвод. Но лейтенант сухо отрезал: «Выполняйте приказ. Если недовольны – завтра обжалуете». Я, разумеется, не стал поднимать уставших курсантов и пошел в соседний взвод. Их командир напился и спал. Тогда я сам повел их «на картошку». Курсанты, зная с вечера свое задание, мне подчинились. Я полагал, что инцидент исчерпан. Но не так думал обиженный «физкультурник». В течение двух месяцев он постоянно приходил в расположение взвода, разыскивал меня и сообщал, что он подал рапорт и мне за невыполнение приказа офицера грозит штрафной батальон. Потом я установил, что за эти два месяца потерял около пяти килограммов веса. И вот настал «судный день». Меня и младшего лейтенанта вызвал замполит дивизии, пожилой полковник. Я поведал, как было дело, а в заключение сказал: «Мне, может быть, придется с этими солдатами в бой идти. Так как же они смотрели бы на меня, если бы я, спасая свою шкуру, их бы так

подло предал». Замполит спросил у офицера: «Слышали?». Тот что-то пробормотал. Тогда замполит картинно разорвал его рапорт на четыре части и скомандовал: «Кругом! Шагом марш!». Младший лейтенант вышел, а полковник сказал мне несколько ободряющих слов. Инцидент остался без последствий, если не считать потерянных килограммов.

Этот год службы запомнился мне еще одной черточкой нашего армейского быта. В военном городке в Йене, где размещалась среди прочих и наша воинская часть, была солдатская столовая, которую курсанты почему-то называли чайханой. Мы, сержанты учебного батальона, покормив курсантов и уложив их на послеобеденный сон, приходили в «чайхану», чтобы в тишине и без забот выпить по кружке молока, заедая его вкуснейшим немецким печеньем. Нас обслуживал вольнонаемный немецкий официант. Заметив, что мы четверо ходим в столовую регулярно и всегда садимся за один и тот же столик, он взялся за украшение нашего быта. Сначала стал застилать столик скатертью, потом стал приносить нам на стол совершенно не нужный, но изящный столовый прибор (солонка, перечница), и наконец – вазочку с цветами. Мы щедро давали ему «на чай», что в полуголодной в те дни Германии было официанту небезразлично. Скоро нашему примеру последовали и другие сержанты. Всем нам было приятно, что мы сидим за чистеньким столиком, как в ресторане «на гражданке».

Спиртное было под строгим запретом и труднодоступно: его можно было купить, только уйдя в самоволку, что грозило гауптвахтой. И все же солдаты эти строгости обходили. Так, свой день рождения в 1950 году я отмечал с двумя друзьями-сержантами в ресторанчике «Zwischen den Linden» («Между липами») на окраине Йены, недалеко от нашего военного городка. По договоренности с хозяином мы пришли в назначенный час в ресторанчик, он отвел нас в полутемный коридор, отодвинул от обшарпанной двери бочку с кислой капустой (конспирация!), и мы оказались в уютной чистенькой комнатке с сентиментальными олеографиями на стене. Выпивка (шнапс, весьма противный на вкус, и ликер «Шантеклер», вкусный, но совершенно убойный) ждала нас вместе с закуской на столе. Ровно в оговоренный час хозяин отодвинул бочку и выпустил нас на волю. Затем огородами мы добрались до своей части, где нас впустил в военный городок заранее предупрежденный часовой. Разумеется, это мероприятие было рискованным, и осуществляли его редко и по особым случаям, как, например, день рождения.

Третий год службы я провел в полку, сначала командиром орудия САУ, а после демобилизации командира машины и на его посту. Старослужащие-фронтовики относились к нам хорошо, хотя и сетовали, что мы сменили их слишком поздно. Моим командиром был старший сержант, уроженец Горьковской области, большой балагур. Он сказал нам, молодым членам экипажа, что будет звать нас «гуси». Гуси так гуси. И, нарушая порядок, он вместо уставного «экипаж, к машинам!», кричал: «Гуси, ко мне!» Мы бежали и в секунду забирались внутрь машины. Начальство смотрело на эти шалости ветеранов снисходительно.

И вот я стал командиром САУ. Странно, но я проникся к «своей» самоходке какой-то особенной любовью: мне казалось уютным мое место в командирской башенке, я ревностно следил за исправностью и безукоризненным внешним видом машины. С экипажем (командиром орудия, водителем и заряжающим) я был в наилучших отношениях. Учили нас хорошо, и мне казалось, что, случись война, наша САУ нас не подведет. Тренировки экипажей продолжались, естественно, и в полку. Так, помнятся маневры с применением настоящих (хотя и не самых опасных) ядовитых газов. Нам было приказано находиться в машинах с надетыми противогазами. Конечно же, нашлись умники, которые, захлопнув люки САУ, тут же противогазы сняли. Но как только машины въехали в зону дымовой завесы (в которой, как оказалось, был рассеян и газ), то некоторые машины остановились, и из распахнутых люков стали выскакивать, кашляя и давясь от приступов рвоты, и улепетывать из зараженной зоны «умники». Естественно, их ждала и кара в виде нарядов вне очереди.

<...>

Осенью 1951 года нас ожидала демобилизация. И буквально перед ней – последние маневры с боевыми стрельбами. Обычно я стрелял из орудия хорошо, поэтому был неприятно удивлен, когда после первого выстрела мишень осталась целой. Осталась она невредимой и после второго, и после последнего – третьего – выстрела. Комбат подбежал ко мне вне себя от гнева. Я, потрясенный, лег на землю, уткнувшись лицом в траву. Позор! Но вот вернулись от мишеней проверяющие. Оказалось, что в моей мишени три пробоины, причем две из них близко к центру. Просто снаряды не разорвались, так как на маневры и учебные стрельбы обычно давали боеприпасы с вышедшим сроком хранения. Комбат сам поздравил меня с отличной стрельбой и представил к награде. Но из-за волнения, естественного

для таких «итоговых» стрельб, перепутал: ожидаемые нами часы получили солдаты второго года службы, мечтавшие об отпуске домой, а отпуск – мы, собиравшиеся уже демобилизоваться. В результате расстроены были все: одни – оставшись без отпуска, а другие – без часов.

Естественен вопрос: какое впечатление произвела на меня Германия, как относились к нам немцы. Ответить на эти вопросы трудно. Прежде всего потому, что даже Йену мы узнали плохо: увольнений у нас не было, а окрестности Йены, а также Эрфурта и Веймара мы видели только либо через люк и перископ, либо с башни самоходки. По той же причине не было у нас и контактов с населением. Те немцы, которые работали у нас на кухне (офицерской) и в столовой, относились к нам очень дружелюбно. Но, может быть, это объяснимо тем, что они дорожили своей работой в полуголодной еще тогда Германии. Нам всячески внушали не доставлять немцам неприятностей (не говорю уже о преступлениях). Поэтому, если, например, во время маневров самоходка, съехав по скользкой дороге, упиралась орудийным стволом в окно деревянного сарая, мы тут же расплачивались с хозяином марками за нанесенный ущерб. Когда мы маршировали в строю по улице Йены, направляясь, например, в кинотеатр, то на тротуарах стояли горожане, не скажу, что они приветствовали нас, но и не демонстрировали своей неприязни.

Домой ехали мы в теплушках. Тяжелое впечатление оставили первые часы, проведенные на родной земле: на станциях эшелон обступали голодные люди, и мы отдавали им хлеб и другие продукты, взятые в дорогу. В Ленинграде нас привезли на станцию Цветочная (в Московском районе, недалеко от Московских ворот). Мы не стали дожидаться утреннего прибытия на вокзал и тут же, ночью, отправились пешком на Московский (тогда Международный) проспект, а от туда по домам.

Демобилизовавшись, я вернулся на родной завод. Мой цех был ликвидирован, и я перешел в инструментальный цех токарем. Этот цех был средоточием мастеров высокого класса, так как в нем изготавливали в основном уникальные, в одном экземпляре, приспособления и инструменты. Иногда изделие было столь сложным и изготовленным столь мастерски, что у станка умельца собирались его товарищи по цеху, восхищались и поздравляли. Токари в цеху были, как правило, весьма культурны. Помню, как говорил мне мой сосед, пожилой токарь, про нашего коллегу: «Вот наш Митрич ходит в филармонию. Я бы не пошел. Скучно. Другое дело – опера или балет, или

драматический театр. Мы с женой хоть раз в месяц да выбираемся в Мариинку». Заметьте: филармонии противопоставлялась не пивная, а театр. Главной чертой, объединявшей многих, было уважение к мастерству, хорошо и красиво сделанной вещи, и презрение к «стахановцам». <...> Я считаю годы работы в этом цеху годами своей нравственной учебы: меня научили ответственно относиться к выполняемой работе.

Вернувшись из армии, я, естественно, поспешил восстановиться в вечерней школе, хотя стоял уже декабрь. Преподавательница литературы, Бася Наумовна, была против, требуя, чтобы я пошел в восьмой, а не в девятый (из которого был призван) класс. Но бывший фронтовик-артиллерист Мирон Моисеевич, преподававший математику, стал самоотверженно заниматься с демобилизованными, помогая догнать класс. Он оставался на послеурочные занятия, гоня с них отстающих по математике девиц: «Идите лучше танцевать!», а с нами сидел допоздна.

Учиться стало трудно. В эти годы на производстве всюду внедрялся «метод Борткевича» – скоростное точение специальными жароустойчивыми резцами. Работа шла в экстремальных условиях: на высоких скоростяхдвигающийся суппорт с резцом мог при секундном промедлении врезаться в патрон, к тому же из-под резца разлеталась во все стороны раскаленная добела стружка, которая порой попадала за воротник комбинезона и обжигала тело. И после восьмичасовой вахты – уроки в школе. Я специально брал с собой железяку с острыми краями и сжимал ее в кулаке, чтобы не заснуть на уроке. А под конец учебы неожиданная беда: наш дом в Транспортном переулке (куда мы с отцом переехали с Лиговки, когда вернулись из эвакуации прежние жильцы нашей комнаты) вдруг дал трещину, грозившую полным обрушением. Всех жильцов срочно переселили в маневренный фонд. В доме на Владимирской площади, над станцией метро, поселили две семьи в одной комнате: меня с отцом и женщину с сыном, моим ровесником, тоже Олегом. И все это произошло в дни госэкзаменов в школе, которые я сдал, естественно, не лучшим образом: мне достался один из трех билетов, которые я не успел подготовить, пришлось брать второй билет, что повлекло снижение оценки. Но среднюю школу я окончил.

Нужно было поступать в вуз. Технические вузы я решительно отверг: не потянул бы со своим нематематическим складом ума, да и интересовали меня литература и история. Поступать в ЛГУ на фил-

фак я не решился (хотя готовился серьезно, по десятичной «Истории русской литературы») и подал документы в Педагогический институт им. А. И. Герцена, на факультет русского языка и литературы. Мне как выпускнику вечерней школы пришлось отвечать на два билета (было такое негласное правило, а буквально год спустя к выпускникам вечеров стали относиться благожелательно), но я прошел, заняв по баллам шестое место среди сдававших экзамены (от них были освобождены медалисты). <...> Я поступил в институт двадцати пяти лет от роду, мои сокурсники были на шесть-семь лет моложе меня. <...> Факультет был девичий: нас, мужчин, на курсе было всего трое: я, Толя Александров, впоследствии занимавшийся обэриутами,<sup>14</sup> и Мирон Певзнер, который откровенно признавался, что потолок его карьерных мечтаний – должность заместителя директора школы по пионерской работе. Горько, что оба они, бывшие моложе меня, уже ушли из жизни.

То, что я поступил в ЛГПИ, а не в университет, имело свои плюсы и минусы. Минусом было то, что программа института была нацелена на работу в школе и преподавательские кадры были слабее университетских, но с другой стороны, <...> ориентация на преподавание (а не на исследовательскую работу) помогала мне в трудоустройстве в нищие годы учебы. Об учебе в ЛГПИ у меня осталось мало воспоминаний. Как ни странно, я с благодарностью вспоминаю лекции по античной литературе М. Н. Ботвинника,<sup>15</sup> по западной литературе – Анисимовой,<sup>16</sup> по русской истории – Бернадского (если не ошибаюсь в фамилии),<sup>17</sup> лекции лингвистов – Б. Л. Богородского,<sup>18</sup> С. Г. Ильенко,<sup>19</sup> Л. В. Матвеевой-Исаевой,<sup>20</sup> но не по русской и советской литературе. Древнерусскую литературу читал у нас фольклорист Шептаев,<sup>21</sup> не привлекая к ней мое внимание. Лекции по русской литературе XIX века читали Докусов<sup>22</sup> и Касторский<sup>23</sup> (последний, страстный поклонник писателей-революционных демократов, отталкивал меня театрально напыщенной манерой чтения). <...> Наиболее активные и умные наши студентки бегали в университет на лекции знаменитого тогда профессора Бялого.<sup>24</sup>

На третьем курсе института произошла моя переориентация с литературоведения на языкознание. Я писал курсовую работу по дневникам Н. Г. Чернышевского. Моей руководительницей по курсовой была Дина Клементьевна Мотольская,<sup>25</sup> милая и уважаемая, впоследствии по-матерински следившая за моими первыми шагами в науке. Но тогда у нас произошел конфликт, не отразившийся на взаимоот-

ношениях, но «рассоривший» меня с литературоведением. Чернышевский писал в своем дневнике, что не разделяет существующей высокой оценки «Героя нашего времени» Лермонтова, и признался, что его внимание привлек лишь факт, что у Печорина было «много женщин» (не пойму, откуда он сделал этот вывод: две-три женщины Печорина – это много?). Мое недоумение Дина Клементьевна не делила (о романе, а не о женщинах), сказав, что гениальный Чернышевский в действительности конечно же оценил роман Лермонтова. А я сделал вывод, что литературоведы пишут не о том, что есть, а о том, что должно быть, и ушел в лингвистику – курсовые на четвертом и пятом курсах я писал по лексикологии.

На третьем курсе мы проходили «пассивную практику» в школе: мы должны были сидеть на уроках, которые вели лучшие учителя. Я был «прикреплен» к классу, в котором преподавал заслуженный учитель. Однажды он попросил меня, сидевшего на его уроке, почитать классу что-нибудь из раннего Маяковского. Маяковского я, с легкой руки Николая Андреевича Шубина, о котором рассказывал раньше, знал и любил, в частности, «Флейту-позвоночник» и «Облако в штанах» знал наизусть, хотя специально никогда не заучивал. Поэтому я с охотой взялся «вести урок» по творчеству Маяковского. Учитель похвалил меня и после этого еще два или три раза поручал мне провести вместо него урок. На следующий год меня пригласили вести занятия по литературе и языку в пятом и девятом классах.

<...>

Класс меня, кажется, полюбил, но мое преподавание оборвалось из-за жалобы в РОНО библиотекарши. Она метила на мое место. <...> Ко мне на урок нагрянула комиссия. Прослушав урок, члены комиссии похвалили меня, но потребовали, чтобы я, «недоучка» (я был на четвертом курсе), немедленно прекратил бы работу в школе. У меня уже было двое детей, Надя<sup>26</sup> не работала, и мне пришлось искать другие источники дохода. Уже с первого курса института я до начала занятий работал на почте, разнося газеты (в те годы их выписывали много, на каждую коммунальную квартиру приходилось от трех до десяти газет), вечером же занимался репетиторством, в основном с абитуриентами, готовя их к вступительным экзаменам.

<...>

После второго курса института нам довелось побывать на целине. Целый эшелон теплушек вез нас, студентов, в Омскую область. В Ом-

ске на вокзале нам устроили помпезную встречу, но затем выяснилось, что мы не нужны: хлеб убирали комбайны. Девушек послали копать картошку в подсобном хозяйстве, а нас, парней с филологического и исторического факультетов, повезли в степь строить кошару (хлев) для скота. К счастью, среди нас был студент – бывший моряк и бывший зек, который смыслил в строительных работах. Кошару мы построили. Но когда стены кошары возвышались всего на метр, нас ожидало приключение. Мы увидели, что из степи к нам приближается что-то, что мы сначала приняли за куст «перекати-поле». Но оказалось, что к нам мчится огромный племенной бык, сбежавший из находившегося в нескольких километрах от нас совхоза. Добежав до нашей стройки, бык стал демонстрировать свою силу и удаль: рыл землю копытами и рогом, страшно ревел. Мы выстроились в ряд за недостроенной стенкой, сжимая в руках топоры: а что если быку захочется познакомиться с нами поближе... Но тут из степи приблизилась другая непонятная тень (уже стало смеркаться). Оказалось, прискакал на лошади казах-пастух. Он обратился к быку с громкой возбужденной речью по-казахски, перемежая ее, впрочем, до боли знакомыми словами русского мата. Грозный бык разом сник и, к нашему изумлению, поплелся вслед за казахом, как побитая собачонка. Мы облегченно вздохнули.

На четвертом курсе сдавали экзамен по политэкономии. Надо сказать, что преподавателя, читавшего нам политэкономии капитализма, мы полюбили. А вот сменивший его преподаватель, читавший курс политэкономии социализма, нам не нравился: читал он скучно. И вот экзамен. Я без труда справился с билетом, и преподаватель удовлетворенно сказал: «Очень хорошо. Четыре». «Четыре» – значит, прощай Сталинская стипендия,<sup>27</sup> четверки стипендиатам не прощались. Я на ватных ногах вышел из аудитории. Но тут за меня вступились сокурсницы (нельзя не оценить их смелость: ведь им самим предстоял экзамен): «Он же лишится Сталинской стипендии! А у него двое маленьких детей!». Преподаватель объяснил, что политэкономия социализма настолько сложна, что на пятерку ее знает только он сам. Но милые мои защитницы не сдавались, вновь напирая на малолетних детей. Смущенный их настойчивостью преподаватель велел найти меня. Я предложил без подготовки ответить на другой билет. «Нет, не нужно. Я вижу, что Вы знаете предмет, но у меня принцип», – ответил он. И ворчливо добавил: «Давайте зачетку, я исправлю оценку. Но я впервые ставлю пятерку по политэкономии социализма...».



На четвертом курсе института профессор Сакмара Георгиевна Ильенко сделала мне царский подарок – издание «Повести временных лет» в серии «Литературные памятники», подготовленное Д. С. Лихачевым. Так впервые в мою жизнь вошли «Повесть» (о которой я написал дипломную работу, потом диссертацию, а затем издавал и переводил) и Дмитрий Сергеевич Лихачев, под началом которого я проработал впоследствии много лет.

Под руководством доцента Бориса Леонидовича Богородского, специалиста по исторической лексикологии, ставшего впоследствии близким мне человеком, наставником, я стал составлять словарь языка «Повести временных лет». Забегая вперед скажу, что словарь я составил до буквы «с», написав для него более сорока тысяч карточек. Издать его не удалось, но составленный мной полный словоуказатель к Лаврентьевскому списку «Повести» был выпущен отдельной книжкой в Киеве в 1984 году, а затем переиздан в 1998 году в первом томе нового Полного собрания русских летописей.

После того как я с отличием окончил Институт, кафедра русского языка ЛГПИ предполагала взять меня в аспирантуру. Но «кадровичка» Института, заведовавшая и аспирантурой, отказалась даже принимать документы, так как у меня не было трехгодичного стажа работы по специальности. Семилетний трудовой стаж и годы службы в армии в расчет не брали. Тогда Борис Леонидович обратился к хорошо знавшему его профессору ЛГУ, декану филфака Борису Александровичу Ларину.<sup>28</sup> В университете признали мой рабочий стаж и предложили поступать в аспирантуру на специальность «Общее языкознание» по теме «Древнерусская лексикография». Но Герценовский институт не отпустил меня без «подарка»: так как я не поехал по распределению (я имел на это право – моей младшей дочери не было еще трех лет), ректор лишил меня, обладателя красного диплома, выходного пособия. Мне пришлось срочно искать работу – нужно было кормить семью. Сначала я разгружал вагоны с картошкой, а потом устроился на Шинный завод. Работа на конвейере была не из легких: я должен был смазывать мылом шины, так и сыпавшиеся с конвейерной ленты, среди которых были и неподъемные шины для самосвалов. Стоило отлучиться по необходимости на две-три минуты, как шин накапливалась гора – горячих, слипающихся... Но скоро я освоился и успевал справиться с шинами, да еще – больше для бравады – присесть на минуту.

Потом стал готовиться к вступительным экзаменам по малознакомой мне специализации. Но экзамены я сдал хорошо и осенью 1958 года

был зачислен в аспирантуру университета. Моим научным руководителем стал Борис Александрович Ларин. Человек очень занятой (напомню, он был еще и деканом), он не мог уделять время своим аспирантам <...>. Но все равно я безмерно ему благодарен: он подарил мне пишущую машинку, которой я пользовался еще много лет, ряд книг по специальности.

<...>

Аспирантские годы были наполнены напряженной работой: нужно было войти в новую для меня область общего языкознания, залатать дыры в своих знаниях немецкого языка, трудиться над диссертацией. А при этом приходилось еще прирабатывать репетиторством. По рекомендации профессора-слависта П. А. Дмитриева<sup>29</sup> я был принят преподавателем на Подготовительные курсы университета. От частных уроков я смог наконец отказаться.

<...>

Преподавание на Подготовительных курсах я продолжал, уже работая в Пушкинском Доме. Помимо заработка оно приносило мне профессиональную пользу – я совершенствовался как преподаватель и лектор. Как преподавателя Подготовительных курсов меня два или три раза включали в приемную комиссию на вступительных экзаменах в университет. <...> В эти же годы, кажется, я стал читать лекции по древнерусской литературе в Центральной лектории Общества «Знание» на Литейном проспекте, где был и членом Методического совета Общества.

В 1961 году в моей жизни произошло важное событие: я был принят на должность младшего научного сотрудника в Сектор древнерусской литературы Пушкинского Дома, где проработал сорок пять лет. Повод для моего зачисления был таков. Московская лингвистка Вера Леонидовна Виноградова начала работу над составлением Словаря-справочника к «Слову о полку Игореве»: к каждому слову памятника, к каждому его значению нужно было найти параллели из памятников древнерусской литературы или фольклорных текстов. Но Вера Леонидовна была тяжело и неизлечимо больна: у нее была «болезнь Менъера» (если я не ошибаюсь в термине): она с трудом ходила, у нее непроизвольно запрокидывалась голова, была затрудненная речь, ей плохо подчинялись руки. Поэтому Вере Леонидовне нужен был помощник, который бы сверил по изданиям и рукописям подобранные ею (точнее, выбранные из словарной картотеки, хранившейся в ее институте<sup>30</sup>) цитаты, перепечатал бы текст словаря и подготовил

его к публикации. Эта работа и была поручена мне. Она отняла у меня годы, но принесла и несомненную пользу: познакомила с памятниками древнерусской литературы, с их изданиями и исследованиями. Моя работа не давала покоя тогдашнему директору Пушкинского Дома Василию Григорьевичу Базанову:<sup>31</sup> на каждом отчете Сектора он после добрых слов Лихачева о моей работе предлагал мне покинуть Институт, перейти на работу в Институт русского языка. Дмитрию Сергеевичу приходилось настойчиво разъяснять, почему работа над этим словарем должна вестись именно в возглавляемом им Секторе. К тому же Дмитрий Сергеевич был и редактором словаря. Мое зачисление в Сектор очень смущало и «кадровичку» Института – Полину Анисимовну,<sup>32</sup> которая не раз, театрально хлопнув себя по лбу, восклицала: «И как это я Вас зачислила в штат без испытательного срока?»).

А как же состоялось мое «вхождение» в Пушкинский Дом и в Сектор древнерусской литературы?

Борис Леонидович Богородский и Борис Александрович Ларин предложили мою кандидатуру для работы над словарем Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Мне был назначен день и час, когда я должен был прийти к Лихачеву домой для знакомства. Я подошел к его дому на Черной речке задолго до назначенного времени – боялся заблудиться в незнакомом районе и опоздать. Ровно в указанный час я позвонил в квартиру Лихачева. В полутемной прихожей меня встретил молодой человек, которого я принял за сына Лихачева, тогда еще не зная, что у него лишь две дочери, а встретил меня его зять Сергей Зилитинкевич. Он и провел меня в кабинет Дмитрия Сергеевича. Тот встретил меня чрезвычайно радушно, расспросил о семье, об учебе в аспирантуре, научных интересах. Потом, уже, вероятно, решив, что берет меня в Сектор, стал рассказывать о нем, давая каждому сотруднику краткую благожелательную характеристику, чтобы я смог быстрее адаптироваться в коллективе. Так свершилось мое поступление в Пушкинский Дом. Мне пришлось перевестись из очной аспирантуры в заочную, так как нужно было немедленно включиться в работу.

Хотя руководителем моей аспирантской работы был Ларин, именно Дмитрия Сергеевича я считаю своим главным учителем, введшим меня в большую науку. Лихачев не занимался со мной персонально: он учил всех нас прежде всего на заседаниях Сектора, которые проходили почти еженедельно. Зерном каждого заседания был чаще всего не сам доклад, а выступление Лихачева. Потрясала его

эрудиция, широта и глубина его знаний, причем не только древнерусской литературы, но и других областей культуры Древней Руси. Своим примером Лихачев учил нас, каким должен быть настоящий ученый.

Придававший заседаниям Сектора большое значение Лихачев был, как правило, благожелательно настроен к докладчикам, среди которых были и маститые ученые, и аспиранты, а иногда даже студенты. Однажды благожелательность Лихачева к докладчице даже привела к конфликту. Докладчица говорила об особенностях сюжетного повествования в летописи. Я занимался этой проблемой и в только что вышедшей коллективной монографии «Истоки русской беллетристики»<sup>33</sup> посвятил ей целый раздел. Докладчица о моей работе даже не упомянула, хотя выводы наши расходились. Я поспорил с ней. Затем взял слово Александр Михайлович Панченко и своим громовым голосом тоже высказал ей ряд замечаний. В заключительном слове Лихачев заступился за докладчицу, а после заседания вызвал нас с Сашей к себе и с упреком сказал: «Вы разве не видите, что она в плохой форме: ее только что бросил муж». Я дерзко возразил, что спорили мы с ней по существу, а что касается ее семейных дел, то мы об этом не знали. «И что же, мы с Александром Михайловичем должны теперь жениться на ней?». Дмитрий Сергеевич страшно рассердился и сказал, что больше не придет в Сектор. Мне пришлось ехать к нему домой и просить прощения за дерзость.

Дмитрий Сергеевич сделал для меня очень много. Едва я был принят в Сектор, он поручил мне составить указатели к его «Текстологии», что принесло мне огромный – сравнительно с зарплатой младшего научного сотрудника 105 рублей – гонорар: 400 рублей. Узнав, что я с женой и двумя дочерьми живу в восьмиметровой комнате, он попытался помочь мне как депутат Горсовета, но первый раз безрезультатно: начальники приняли его учтиво, а когда я пришел к ним за решением, отказали в грубой форме, намекнув, что спать можно и на садовой скамейке, а я сплю хотя и на полу, но все же в комнате. Несколько лет спустя хлопоты Лихачева увенчались успехом: мне, с большой к тому времени семьей [жившему уже в тридцатиметровой квартире на улице Галстяна], он «добыл» квартиру на Седьмой линии Васильевского острова, в «доме академиков», прозывавшемся из-за обилия мемориальных досок на стенах «индийской гробницей». Мне много раз пришлось бывать у Лихачева дома, и на улице Шверника, и на даче в Комарово. Он и Зинаида Александровна<sup>34</sup> всегда встречали меня исключительно радушно. <...>

В Секторе я особенно выделял Льва Александровича Дмитриева, человека необычайной порядочности, настоящего петербургского интеллигента, для которого служба Сектору была превыше всего. И сделал он для Сектора очень много, как редактор фундаментальных трудов, как организатор выездных чтений Сектора. Огромна роль Льва Александровича как редактора серии «Памятники литературы Древней Руси», как исследователя «Слова о полку Игореве», как автора и соредактора «Энциклопедии “Слова”». Ко мне Лев Александрович относился тепло. Именно он добился, в обход очереди (по стажу), перевода меня на должность старшего научного сотрудника, так как, сказал он, эта должность предполагает не только более высокую зарплату, но и большой план. Как-то Лев Александрович сказал мне: «Мы можем с Вами расходиться во мнениях и оценках, но я знаю, что Вам можно поручить дело, и Вы его сделаете хорошо и в срок». Я очень гордился такой оценкой.

Много добра сделал мне и Яков Соломонович Лурье. Он пригласил меня участвовать в издании «Александрии»,<sup>35</sup> что ввело меня в новую область – переводного исторического повествования. Я был одним из активных участников редактируемых им «Истоков русской беллетристики». Он поддерживал меня в занятиях хронографией и был редактором моей книги «Древнерусские хронографы».<sup>36</sup> Нас не рассорили даже противоположные позиции в споре с А. А. Зиминим о времени создания «Слова о полку Игореве».<sup>37</sup> Впрочем, к «Слову» Лурье относился равнодушно и гипотезу своего близкого друга – Александра Александровича Зиминова – не разделял.

С теплотой вспоминаю Варвару Павловну Адрианову-Перетц. Я бывал у нее в городской квартире на улице Маяковского и на даче, которую она снимала в Сестрорецке. Варвара Павловна была добра к людям, особенно опекала женщин-исследовательниц, которым помогала как вдумчивый и требовательный редактор. Но она не лукавила в оценках окружающих, поэтому, передав в архив Института ее письма ко мне, порой весьма откровенные, я попросил закрыть их для читателей на пятьдесят лет. Вообще Сектор стал для меня второй семьей, он был дружным, за сорок пять лет моей работы в нем случился лишь один конфликт – с Ю. К. Бегуновым, который затем перешел в Сектор новой русской литературы. Из ученых, не сотрудников Сектора, мне больше всего помогли Никита Александрович Мещерский,<sup>38</sup> знаток переводной литературы, бывший моим официальным оппонентом на защитах кандидатской и докторской диссертаций,

и Николай Николаевич Розов,<sup>39</sup> подруживший меня с археографией и палеографией.

В 1962 году я защитил кандидатскую диссертацию. <...> В том же году 21 декабря умер мой отец. Он упал в коридоре своей комнаты с заварочным чайником в руках – инфаркт.

Кажется, в 1963 году в нашей жизни произошло радостное событие: мы получили квартиру. После восьмиметровой комнатухи тридцатиметровая трехкомнатная квартира в «хрущевке» казалась раем. Из окна открывался вид на Воронью гору и железную дорогу с мигавшими огоньками семафоров (сейчас этот вид заслонили построенные на месте бывшего садоводства дома), с настоящим болотом (не котлованом) под окнами, с квакающими на болоте лягушками – чем не рай. Мы переехали, даже не дождавшись, когда дадут воду (ходили к крану во дворе), и первое, что приобрели, – кровать. Хотелось спать не на полу на разостланных пальто, а как все люди – на кровати. В те годы, когда мы поселились на улице Галстяна (так тогда назывался отрезок нынешнего Ленинского проспекта от Московского проспекта до Балтийской железной дороги), в торце Новоизмайловского проспекта, где теперь Площадь Конституции, стоял деревянный домик с прилегающим огородом, лаяла на цепи собака и паслась привязанная к колышку корова. А южнее в поле внезапно начиналась и метров через двести так же неожиданно обрывалась липовая аллея, вероятно, прежде ведшая к усадьбе, последние следы которой исчезли, очевидно, в годы войны.

С шестидесятых годов я стал, как сейчас говорят, фанатом лесных прогулок по Карельскому перешейку. Все началось с того, что, поступив в Пушкинский Дом, я месяц спустя был послан на сельхозработы в поселок Бережок километрах в 20 к западу от Соснова. Сначала мы с Володей Степановым из Группы литературы XVIII в. уничтожали следы цивилизации: разбирали узкоколейку, по которой предполагалось [ранее] возить корма на ферму, а рельсы (шпалы? – Л. С.) использовали на строительство забора вокруг той же фермы. <...> Затем нас послали на сенокос на Вепсу. Так называлось плато на возвышенности, с которой открывался изумительный вид на окрестности (этот вид привел в восторг Володю,<sup>40</sup> тогда еще младшего школьника, когда я привел его, много лет спустя, на это место). На Вепсе виднелись фундаменты сгоревших домов, вокруг которых бурно разросся малинник. С нами на сенокос приехала из Бережка Паня, она должна была варить нам обед. И вот во время варки похлебки Па-

ня сказала нам с Володей Степановым: «Парни, сходите вот в ту рощицу за грибами, да поскорее». Мы восприняли ее просьбу как шутку, но все же пошли. И, к нашему изумлению, набрали полный мешок отличных подосиновиков. Я, естественно, поинтересовался, можно ли от этого благодатного места дойти до железнодорожной станции. Оказалось – можно, до станции «67-й километр». С той поры мы с Надей, а когда подросли дочери, то и с ними, стали ездить в эти края. Мы останавливались на берегу озера Безымянное, хорошо известного туристам. В один из дней я насчитал на мысу у озера восемнадцать палаток. Мы тоже ездили с палаткой: уезжали в пятницу, возвращались в город утром в понедельник. Палатку зарывали в лесу в тайнике, чтобы не таскать ее с собой. С нами ездила и наша собака Альма. Как-то мы с Верой,<sup>41</sup> страстной любительницей лесных походов, и Альмой забрались в какую-то глушь. Остановились на поляне и стали прислушиваться. «Какая тишина. Даже электричек не слышно», – сказал я. Мы с Верой замолчали и стали вслушиваться. Поставив ушки, стала вслушиваться и Альма. Ничего не услышав, она заволновалась и начала поскуливать. Мы рассмеялись и называли потом этот эпизод «Как Альма слушала тишину».

И еще два эпизода, связанные с лесом. В 1975 году у меня случился сосудистый криз. Я сидел на Ученом совете в Институте истории РАН рядом со Львом Александровичем Дмитриевым, как вдруг почувствовал, что теряю сознание. Я успел прошептать Дмитриеву: «Держите меня» – и схватил его за руку. Затем я потерял сознание, но как-то странно: перед этим вдруг все озарилось багровым светом, зазвучала громкая музыка, я увидел себя маленьким, бегущим по освещенному ярким солнцем полю навстречу еще молодой (!) матери. А потом полный мрак. Очнулся я в вестибюле Института, врач «Скорой помощи» делал мне укол. Пролежал я почти месяц, а когда снова стал выходить из дому, решил, ничего не сказав Наде, съездить в любимый лес. Я задумал пройти мерным шагом десять километров – пять туда и пять обратно. Когда шел туда, дорога подо мной проседала, когда возвращался – она была совершенно твердая. Врач сказал потом, что я, конечно, безумец, но я промыл мозги кислородом и пошел на поправку.

Второй эпизод с элементом мистики. У меня была привычка давать лесным дорогам, полянам, тропинкам условные названия. Я мог сказать Наде, когда мы шли за грибами: «Пойдем по Зеленой дороге, а потом свернем на Поляну керогаза (поляну, на которой валялся

брошенный керогаз»). Красивый склон, заросший редкими стройными соснами, я назвал «Склоном Веры Лихачевой», в честь дочери Дмитрия Сергеевича.<sup>42</sup> Потом она трагически погибла. Через пару лет после ее смерти я оказался в том месте, где был нареченный ее именем склон. Пришел – и остолбенел. Кругом стоял как ни в чем не бывало лес, а «склон Веры» был завален вырванными ураганом соснами... Я рассказал об этом мистическом явлении Дмитрию Сергеевичу.

Но вернусь к делам институтским. Работая над одним из разделов для «Истории русской беллетристики», я заинтересовался хронографией и за три года подготовил докторскую диссертацию, в которой пересмотрел устойчивый взгляд на происхождение хронографа, освященный авторитетом самого Шахматова. Защитил я докторскую диссертацию в 1973 году. В это время действовал строгий запрет на послезащитные банкеты. Поэтому, защитившись в апреле, банкет я устроил в мае, приурочив его, от греха подальше, ко дню рождения дочери.

В Институте я как-то сразу попал в ряды «общественных деятелей»: меня избирали заместителем председателя месткома, заместителем председателя группы народного контроля. Мне настойчиво предлагали вступить в партию, но у меня на памяти был доклад Хрущева с осуждением культа личности. Прослушав этот доклад на закрытом собрании учителей, я несколько дней ходил буквально как в бреду. Меня потрясла не столько жестокость Сталина по отношению к «бывшим», кулакам и т. п. – это еще можно было объяснить жесткой логикой классовой борьбы. Но расправа с соратниками, со сподвижниками Ленина, с руководителями страны, военачальниками, да еще в таких масштабах, указывала на звериную жажду неограниченной власти, маниакальную подозрительность Сталина. Поэтому на предложение вступить в партию я ответил откровенно, но рискованно (если помнить об обстановке тех лет): «В партию убийц я не пойду». Меня продолжали убеждать: в Институте борются две силы: ортодоксы-сталинисты и коммунисты «новой волны». Их пока очень мало, а это плохо для Института и для науки. Нужно поддерживать здоровые силы. Я заколебался, но твердо сказал, что вступлю в партию лишь после защиты докторской, чтобы это не объяснили карьерными соображениями. В 1975 году я вступил в партию. Дмитрий Сергеевич одобрил мое решение. У нас в Секторе была только одна коммунистка – Ольга Андреевна Белоброва, что давало повод



ортодоксам нападать на наш беспартийный Сектор и на Лихачева как его руководителя. Партийная жизнь в Институте была бурной, на собраниях звучали идеологические обвинения, что в те годы могло иметь печальные последствия, тем более что среди ортодоксов были люди, маниакально искавшие повод «истребить врагов». Меня дважды избирали (несмотря на противодействие ортодоксов) секретарем партбюро. Я стремился направить энергию коммунистов на конкретные дела – прежде всего выполнение плановых заданий, отстаивал, сколько было сил, невинно обвиненных. В результате получил от райкома выговор «за ослабление партийного контроля за деятельностью администрации, за недостатки и упущения в идейно-воспитательной работе среди сотрудников ИРЛИ». В 1988 году мне грозило избрание секретарем парторганизации на новый срок, поэтому, когда директор Пушкинского Дома Николай Николаевич Скатов предложил мне должность своего заместителя по науке, я тут же согласился. <...>

Я проработал в дирекции до 1996 года, а затем вернулся в Сектор (Отдел) и обратился со слезной просьбой к Дмитрию Сергеевичу дать мне возможность сосредоточиться на подготовке к изданию «Летописца Еллинского и Римского». О необходимости и важности его издания не раз говорил и сам Лихачев, однако, упомянув «Летописец», тут же добавлял: «Но сейчас, Олег Викторович, нужно подготовить новое издание “Слова о полку Игореве”», или обращался с каким-либо иным поручением. На этот раз Лихачев <...> уступил. В 1999 и 2001 годах вышли в свет два тома «Летописца». Жаль, что Дмитрия Сергеевича в это время уже не было среди нас. <...>

Помимо регулярных научных заседаний Сектор проводил и общесоюзные совещания по древнерусской литературе, в которых принимали участие медиевисты из Ленинграда, Москвы, Новосибирска, Киева и других городов. На одном из таких совещаний выступил с докладом московский профессор Позднеев,<sup>43</sup> про которого ходили слухи, что он регулярно посылает в ВАК отрицательные отзывы на защищенные диссертации, чем существенно удлиняет время утверждения ученых званий их авторам. На этот раз Позднеев выступил с яростной, но совершенно абсурдной критикой точки зрения Лихачева на древнерусскую «Повесть о Горе-Злочастии». Лихачев видел в «Горе» олицетворение рока, несчастливой судьбы. Нет, утверждал Позднеев, речь идет об обыкновенной маркитантке. Меня потрясла эта нелепость, и я тут же сочинил стишок:

От маркитанток наши беды –  
И пьянство, и разврата гниль,  
И мини-юбочек победы  
Над подолом, метущим пыль.  
И если к нам (избавь нас, Боже!)  
Придет стриптиз или канкан,  
Здесь Запад чист, все это тоже  
От маркитантки с красной рожей,  
Тянувшей Молодцу стакан.

СТИШОК Я ПОСЛАЛ В ПРЕЗИДИУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАВШЕМОУ НА ЗАСЕДАНИИ НИКОЛАЮ КАЛЛИНИКОВИЧУ ГУДЗИЮ. СОВСЕМ ЗАСКУЧАВШИЙ ОТ ПОЗДНЕЕВСКОГО БРЕДА ГУДЗИЙ ОЖИВИЛСЯ И С ТРУДОМ УДЕРЖИВАЛСЯ ОТ СМЕХА. <...>

Помимо совещаний по древнерусской литературе, проходивших в Пушкинском Доме, Дмитрий Сергеевич задумал цикл выездных Чтений по древнерусской литературе. Мы были с докладами в Пскове, Ярославле, Вологде, Петрозаводске и других городах. Мне лично эти поездки казались не слишком результативными: конечно, мы привлекали внимание к древнерусской литературе, но провинциальная аудитория была плохо подготовлена для восприятия докладов на частные темы, а именно на них обрекал докладчика двадцатиминутный регламент. Самыми благодарными слушателями были преподаватели вузов и сотрудники краеведческих музеев, в которых обычно экспонировались и древнерусские иконы. Что же касается студентов-русистов, то, боюсь, их понуждали слушать наши доклады. Разумеется, неизменный интерес вызывали выступления Дмитрия Сергеевича, на которых всегда было много слушателей.

На этом фоне мне показалась особенно удачной наша поездка в Ереван. Там, в отличие от конференций в других городах, на которых докладчики были скованы двадцатиминутным регламентом, каждый из «великолепной семерки» (как я в шутку назвал нашу делегацию) выступил с полноценным сорокаминутным докладом, позволявшим обстоятельно раскрыть избранную тему. В Ереван приехали Дмитрий Сергеевич, О. А. Белоброва, Н. С. Демкова,<sup>44</sup> Я. С. Лурье, А. М. Панченко, Г. М. Прохоров и я. Армянская аудитория оказалась очень восприимчивой и подготовленной, ведь Армения – страна древней христианской культуры, испытывавшая, так же как и Русь, влияние Византии, поэтому у нас обнаружилось много точек соприкосновения.

Вспоминаю два забавных эпизода этой поездки. Из окон нашей гостиницы открывался вид на Арарат, расположенный километрах в 50 от Еревана, на территории Турции. Гелиан Михайлович Прохоров мечтал нарисовать Арарат, но гора как назло все время была покрыта облаками. И вот как-то я выглянул в окно и ахнул: передо мной во всем своем великолепии на фоне синего неба сверкала белая вершина Арарата. Забыв о приличиях, я в трусах выскочил в коридор и побежал к соседнему номеру, где жил Гелиан. Он тут же бросился к окну и стал рисовать. Едва был завершен набросок, как Арарат вновь стал затягивать туман. Но дело было сделано, Гелиан успел запечатлеть гору. Другой эпизод, юмористический. Преподававшая древнерусскую литературу в Ереванском педагогическом институте очаровательная Кнарик Акоповна Паханянц попросила меня прочесть лекцию ее студентам. Лекции в институте начинались в восемь утра, и я успевал к десяти вернуться в гостиницу, откуда мы должны были ехать на экскурсию. Прочитав лекцию, я возвращался в гостиницу вместе с Кнарик Акоповной. И тут лукавая Паханянц предложила мне взять ее под руку. Так мы и подошли к гостинице, где у входа уже стояли члены нашей делегации. «Откуда вы?», – растерянно и грозно спросил Дмитрий Сергеевич: наше появление «под ручку» в столь ранний час будило воображение, а Дмитрий Сергеевич строго следил за нравственностью своих сотрудников. Мы поспешили его успокоить: всего лишь лекция студентам. Дмитрий Сергеевич тоже выступал перед студентами, и когда его спросили о впечатлении, <...> ответил: «Аудитория была по преимуществу женская. Когда смотришь в зал и видишь такие глаза... Это очень впечатляет».

Моим большим недостатком является плохое знание иностранных языков, поэтому я стеснялся посещать другие страны. У меня было всего три зарубежные поездки. Сотрудница нашего Сектора Марина Алексеевна Салмина готовила издание Хроники Константина Манассии.<sup>45</sup> Мне было поручено составить полный словоуказатель к тексту болгарского перевода Хроники. С этой работой и были связаны две мои поездки в Болгарию. Страна оставила у меня самые теплые воспоминания. Необычайное радушие ее жителей, близость наших культур, близость языков, позволяющая без труда читать вывески на улицах, красота Софии, неширокие улицы которой, застроенные красивыми домами, производили впечатление театральной декорации, болгарские монастыри среди величественных, поросших лесом гор – все это вызывало чувство духовной близости и симпатии к болгарам.

В 1988 году в Италии состоялся международный научный симпозиум, приуроченный к тысячелетию принятия христианства на Руси. <...> Симпозиум проходил с 6 по 13 ноября в двух городах: три дня в Венеции, где мы заседали в прохладной и гулкой зале в здании бывшего монастыря на острове святого Джорджо, и три дня в Риме, в особняке Национальной Академии наук (Академии Линчеи). Осознавая всю меру ответственности, которая легла на малочисленную группу филологов (Н. И. Толстой,<sup>46</sup> П. В. Палиевский,<sup>47</sup> Б. А. Успенский,<sup>48</sup> Ю. М. Лотман,<sup>49</sup> З. Г. Минц<sup>50</sup> и я), представлявших отечественную науку на международном форуме, мы доблестно отработывали свои часы: выступали с докладами, слушали доклады коллег из Италии, Франции, ФРГ, США, Швейцарии и Польши, выступали в прениях, одним словом, жили утомительной и бурной жизнью международного симпозиума. Диапазон проблематики был весьма широк – от язычества и литературы Киевской Руси до Пушкина, Достоевского и Мережковского. Без комплекса квасного патриотизма должен признать, что доклады наших ученых выгодно отличались своей научной оснащенностью и методологической основательностью. В симпозиуме приняли участие и наши писатели – В. Распутин, Д. Балашов, В. Крупин и В. Сидоров. <...> Поездка была полезной и, безусловно, целесообразной. Всякая встреча, обмен мнениями, живые человеческие и научные контакты полезны.

Впечатлений ненаучного характера было множество. Особенно у меня, так как это была моя третья заграничная поездка вообще, а в Италию – первая.

Прошло уже много лет, память поистерлась, и поэтому я воспользуюсь здесь своей заметкой, написанной сразу же после поездки в Италию.

<...> Венеция – это сказка. И, наверное, это естественно, поскольку она сама по себе скорее туристический объект, чем живой, современный город. Достаточно сказать, что в собственно Венеции вы не встретите ни единого автомобиля, потому что по узеньким, исключительно чистым и созданным лишь для пешеходных прогулок улицам им просто не проехать, и к тому же через несколько сотен метров улица взбирается по ступенькам на крутой мостик над очередным каналом. С такого мостика мы – застывшая в очаровании группа – смотрели на проплывающие под нами гондолы и слушали божественное пение гондольеров, уносившее нас во времена Гольдони<sup>51</sup> и Гоцци.<sup>52</sup> Венеция ослепляет бурной жизнью Площади святого Марка,

торжественным величием интерьеров Дворца дождей, кажущимися неправдоподобными уголками города, облик которых хорошо знаком нам, но лишь по полотнам старых мастеров, – и не верится, что все это видишь наяву. <...>

И в то же время в голове постукивают грустные мысли: вы видите зеленые ступени, уходящие в воду каналов, подгнившие и давно уже забрызганные водой двери, опустевшие дома, в которых по вечерам не зажигается свет, понимаете, как трудно живется на сырых улицах-коридорах без малейшего намека на тротуары – лодки привязаны к кольям, вбитым у порога. Прекрасный город умирает, медленно погружаясь, как сообщает пресса, в мутную воду лагуны.

Венеция вся в прошлом. Иное дело – Рим, в котором шумно заявляет о себе двадцатый век. В величии и красоте ему (Риму, разумеется) не откажешь. Одно дело – видеть фотографию Колизея, и совсем другое – стоять рядом с ним и, задрав голову, терзаться недоуменным вопросом: как это смогли ТОГДА? Да, конечно, мы знаем о рабском труде, о муках добытчиков мрамора в каменоломнях или строителей, по шатким мосткам таскавших на плечах тяжелые камни. Но сколько не просто физической силы нубийца или галла, а высокого искусства и мастерства вложено в величественные аркады, как фантастически прекрасен, высоко интеллектуален и уютен (мне почему-то хочется это специально подчеркнуть) был Форум до того, как его начали растаскивать по камням и взрывать вандалы всех мастей, начиная с пятого века. Чего только не видел Капитолийский холм с той поры, когда его защитников разбудили чуткие гуси и не было вокруг раскинувшегося на километры огромного шумного города. А рядом с этой древностью, настраивающей на размышления о вечности и бренности, современный Рим. Может быть, мои впечатления субъективны, но мне кажется, что сегодня город отдан на поругание металлическим варварам – автомобилям... Ими уставлены тротуары даже центральных улиц, они нескончаемой лавиной ползут или, напротив, мчатся, беспрестанно режут сирены полицейских машин. На улице, по которой мы ежедневно шествовали на заседание, тротуар существовал лишь теоретически, вся улица принадлежала машинам. Вся, хотя на ней и величественное палаццо, в котором размещается Академия Линчеи, и вилла Фарнезе напротив в зеленом садике. О, как бы хотелось подарить Риму хоть частицу умиротворенной тишины Венеции, чтобы мимо руин Форума или арки Траяна можно было бы побродить в благоговейной тишине, пристойной почтенному возрасту их истории.

И еще два впечатления, не нашедшие место в заметке.

В Риме наша делегация была принята Папой Иоанном Павлом II. Пройдя величественными коридорами Ватикана между высокими стройными гвардейцами, облаченными в традиционную желтую форму, мы попали в приемные покои Папы. Аудиенция продолжалась считанные минуты. Не помню, целовали ли мы руку Папе, но он был необычайно приветлив. Нас представлял профессор Колуччи (мне кажется – по-русски, потому что я понял, что он сказал обо мне), а затем и я сказал, кажется, одну фразу, в которой выразил свою радость от знакомства с Италией.

Второе ярчайшее впечатление осталось от общения с архиепископом Смоленским, позднее – митрополитом, а ныне – Патриархом Московским и всея Руси – Кириллом (который был одним из членов нашей делегации). Это чрезвычайно умный, образованный и исключительно обаятельный человек, с тонким чувством юмора. Мы бродили по Венеции вчетвером – архиепископ Кирилл, ректор Ленинградской консерватории Владислав Чернушенко, писатель и ученый-фольклорист Дмитрий Балашов (в красных сапожках и атласной рубашке навыпуск, подпоясанной ремешком) и я. Заходили в магазины. Кирилл спрашивал у продавца, на каком языке ему удобней изъясняться – английском, французском или немецком, и потом на предложенном языке вел переговоры. Как-то мы зашли в магазин, где нас встретила необычайно привлекательная продавщица. Когда мы вышли, Кирилл с доброй улыбкой сказал мне: «Я видел, профессор (он всегда меня так называл), с каким восхищением смотрели Вы на прекрасную продавщицу. Но я должен Вас разочаровать: она с таким же восхищением смотрела не на Вас, а на красные сапожки Балашова». Впоследствии мне выпала честь быть гостем Кирилла в его доме в Смоленске. Он был со мной исключительно приветлив, хотя я честно признался ему, что неверующий.

В последние десятилетия прошлого века я много преподавал: в Русском христианском гуманитарном институте – древнерусскую литературу, в Европейском университете в Петербурге – специально подготовленный курс по археографии и текстологии памятников русского средневековья, впоследствии изданный в сокращенном варианте.<sup>53</sup>

В 1999 г. на Сектор обрушилось большое горе – умер Дмитрий Сергеевич Лихачев. Его вклад в русскую науку и культуру огромен: он привлек к древнерусской литературе внимание миллионов, при нем возглавляемый им Сектор обрел международный авторитет, он

был инициатором и участником важнейших трудов Сектора – «Словаря книжников и книжности Древней Руси», «Памятников литературы Древней Руси» и «Библиотеки литературы Древней Руси», Энциклопедии «Слова о полку Игореве»... Его авторитет в науке и культуре России был огромен.

После кончины Дмитрия Сергеевича мне предложили возглавить Отдел. Через некоторое время началась волна сокращений. Пришлось уйти на пенсию Ольге Андреевне Белобровой и Марине Алексеевне Салминой. Когда потребовалась новая жертва, я сам подал заявление об уходе. <...> Это случилось в октябре 2006 года. А вскоре меня постигло большое горе – умерла Надя. Вечером 30 декабря 2006 года она призналась, что плохо себя чувствует, и отменила наш традиционный предновогодний визит к ее сестре. А ночью ее оставил раскусок. Так, в состоянии диабетической комы, иногда лишь приходя в сознание, она провела в больнице свои последние дни. <...> 3 января 2007 года ей стало совсем плохо, она прерывисто дышала, не приходя в сознание. Я пошел к дежурному врачу. Он задал мне риторический вопрос: «А сколько ей лет?» – и углубился в бумаги. Через полчаса Надя умерла. Проститься с ней пришел Виталий Петухов, с которым мы работали в дирекции, многие сотрудники Сектора. Марина Алексеевна Салмина сказала теплые слова прощания. <...>

Все уже позади. Я смог выполнить почти все, что задумал. Теперь мне уже трудно ездить в библиотеку, я стал плохо видеть. Все в прошлом. С будущим меня связывает одна ниточка – моя очаровательная правнучка Сонечка,<sup>54</sup> которая не перестает радовать нас своими успехами в познании окружающего мира.

Осень 2010 г.

---

<sup>1</sup> Лимберг Александр Александрович (1894–1974) – советский хирург-стоматолог, чл.-кор. АМН СССР (1945). Сын А. К. Лимберга, первого русского профессора стоматологии. В 1919 г. окончил Военно-медицинскую академию. С 1924 г. заведовал кафедрой стоматологии 2-го Ленинградского медицинского института и челюстно-лицевым отделением Ленинградского института травматологии и ортопедии; одновременно (с 1935) – организатор и руководитель кафедры челюстно-лицевой хирургии Ленинградского института усовершенствования врачей, заведующий кафедрой хирургической стоматологии Ленинградского стоматологического института (1946–1956) и профессор челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Ленинградского педиатрического института (1943–1945). Предложил и внедрил в практику оригинальные способы костной пластики нижней челюсти, хирургического лечения при расщелинах губы и нёба. Государственная премия СССР (1948) за монографию «Математические основы местной пластики на поверхности человеческого тела».

<sup>2</sup> В квадратные скобки здесь и далее заключены пояснения публикатора.

<sup>3</sup> Аресты в Ленинграде начались в связи с убийством С. М. Кирова (1 дек. 1934 г.). Поводом к аресту деда послужил, по устному сообщению О. В. Творогова, оговор: его арестовали как владельца фабрики, на самом же деле он служил на фабрике инженером.

<sup>4</sup> ФЗУ – Школа фабрично-заводского ученичества (часто ошибочно – фабрично-заводское училище), низший (основной) тип профессионально-технической школы в СССР с 1920 по 1940 г.

<sup>5</sup> ГОМЗ – Государственный оптико-механический завод. В 1962 г. объединен с другими заводами и преобразован в «Ленинградское оптико-механическое объединение» (ЛОМО).

<sup>6</sup> Деревня Маймеры Угличского района Ярославской области расположена в 15 км от города Углич.

<sup>7</sup> *Хряпа* (новгор., псковск., петергофск.) – нижние листья капустного кочана, лежащие на земле.

<sup>8</sup> *Воронья гора* – холм под Красным Селом высотой 147 м над уровнем моря. Воронья и Ореховая горы – самые высокие точки в окрестностях Ленинграда. У их подножия расположен поселок Дудергоф (ныне дачный поселок Можайский).

<sup>9</sup> Местная противовоздушная оборона.

<sup>10</sup> Имеется в виду брат матери Олега Викторовича, Евгений Иванович Кондратьев.

<sup>11</sup> *Вишневский Давид Николаевич* (1894–1951) – генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, главный конструктор взрывателей Наркомата боеприпасов Советского Союза, начальник лаборатории № 1 ЦКБ № 22 (1942–1951 гг.).

<sup>12</sup> По словам Олега Викторовича, «баррикады» представляли собой кирпичные кладки, которыми были заложены окна первых этажей.

<sup>13</sup> Интересные воспоминания о директоре школы эстонце *Карле Ивановиче Паюту*, которого вся школа звала «Папа Карло», см.: *Долинина Н.* Первые уроки // *Нева*. 1988. № 1. С. 37–63.

<sup>14</sup> *Александров Анатолий Анатольевич* (1934–1994) – кандидат филологических наук (1969), доцент (1980). После окончания аспирантуры ИРЛИ преподавал в разных вузах, с 1973 г. в ЛЭИС им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, где возглавлял кафедру. Известен как специалист по творчеству Даниила Хармса и других писателей, входивших в группу ОБЭРИУ.

<sup>15</sup> *Ботвинник Марк Наумович* (1917–1994) – известный историк античности, автор и соавтор большого количества научных и научно-популярных изданий по истории и культуре Древней Греции и Рима, блестящий переводчик и лектор.

<sup>16</sup> *Анисимова Клавдия Степановна* (1908–?) – кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы ЛГПИ (ныне РГПУ) им. А. И. Герцена; 1 февр. 1964 г. уволена с работы в связи с выходом на пенсию.

<sup>17</sup> *Бернадский Виктор Николаевич* (1890–1959) – доктор исторических наук (1955), профессор (1956), с 1924 г. преподавал историю в ЛГПИ им. А. И. Герцена.

<sup>18</sup> *Богородский Борис Леонидович* (1896–1985) – лингвист, доктор филологических наук (1965), с 1945 г. преподавал в ЛГПИ им. А. И. Герцена.

<sup>19</sup> *Ильенко Сакмара Георгиевна* (р. 1923) – доктор филологических наук (1964), чл.-кор. Российской Академии образования (1968), заслуженный деятель науки РФ (1998), специалист в области языка художественной литературы, синтаксиса, лингвистики текста. Профессор кафедры русского языка филологического факультета ЛГПИ им. А. И. Герцена, с 1969 по 1986 г. заведующая этой кафедрой.



<sup>20</sup> *Матвеева-Исаева Любовь Васильевна* (1889–1954) – с 1944 г. доцент, с 1949 г. – профессор кафедры русского языка ЛГПИ им. А. И. Герцена. Автор «Лекций по старославянскому языку» (М.: Учпедгиз, 1958).

<sup>21</sup> *Шентаев Леонид Семенович* (1902–1990) – доктор филологических наук (1968), профессор, в 1944–1947 гг. – декан филфака Уральского государственного университета, затем преподавал древнерусскую литературу и фольклор в ЛГПИ им. А. И. Герцена.

<sup>22</sup> *Докусов Александр Максимович* (1894–1981) – литературовед, окончил ЛГПИ им. А. И. Герцена, с 1951 г. профессор этого института. Доктор филологических наук (по совокупности трудов, 1951). Основные работы посвящены истории русской литературы XVIII–XIX вв., преимущественно творчеству М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя.

<sup>23</sup> *Касторский Сергей Васильевич* (1898–1962) – литературовед, окончил ЛГПИ им. А. И. Герцена, был профессором этого института. Основные работы посвящены изучению жизни и творчества Максима Горького.

<sup>24</sup> *Бялый Григорий Абрамович* (1905–1987) – известный литературовед, литературный критик, специалист по истории русской литературы XIX в. На его спецкурсы по творчеству русских писателей XIX в. приходили не только студенты, но и люди, далекие от науки. Писатель Михаил Веллер рассказывает в своей книге «Мое дело» о том, что в дни лекций Бялого по Достоевскому аудитория не вмещала всех слушателей: «там собирался весь питерский бомонд, и первый ряд сиял звездами академических и театральных кругов».

<sup>25</sup> *Мотольская Дина Клементьевна* (1907–2004) – литературовед. В 1939 г. защитила кандидатскую диссертацию, посвященную творчеству М. В. Ломоносова (руководитель В. А. Десницкий). Житель блокадного Ленинграда. Награждена медалью «За оборону Ленинграда». После войны преподавала в ЛГПИ им. Герцена, доцент кафедры русской литературы. Автор многих печатных трудов.

<sup>26</sup> Жена Олега Викторовича, Надежда Андреевна Никитина.

<sup>27</sup> «Сталинская стипендия» была учреждена в честь 60-летия И. В. Сталина в 1939 г. Она была в два раза больше, чем повышенная стипендия, отменена с 1 сентября 1960 г. Олег Викторович получал ее на четвертом курсе, в 1956/57 учебном году.

<sup>28</sup> *Ларин Борис Александрович* (1893–1964) – доктор филологических наук (1948), чл.-кор. АН УССР (1945), академик АН Литовской ССР (1949), заслуженный деятель науки РСФСР (1957). С 1919 г. преподавал в вузах Петрограда-Ленинграда, в 1950–1953 гг. – в Вильнюсском университете. С 1954 г. являлся деканом филологического факультета ЛГУ, на котором в 1960 г. создал Межкафедральный словарный кабинет. Одновременно был заведующим кафедрой русского языка (1953–1954), общего языкознания (1958), славянской филологии (1961–1964).

<sup>29</sup> *Дмитриев Петр Андреевич* (1928–1998) – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой славянской филологии СПбГУ.

<sup>30</sup> В. Л. Виноградова работала в Институте русского языка АН СССР (Москва), где хранилась картотека древнерусского языка.

<sup>31</sup> Фамилии сотрудников Пушкинского Дома в настоящей публикации не комментируются. Информацию о них можно найти на сайтах ИРЛИ РАН ([www.pushkinskijdom.ru](http://www.pushkinskijdom.ru)) и [odrl.pushkinskijdom.ru](http://odrl.pushkinskijdom.ru)).

<sup>32</sup> *Черепанова Полина Анисимовна* – инспектор по кадрам Пушкинского Дома.

<sup>33</sup> Истоки русской беллетристики. Л., 1970.

<sup>34</sup> *Лихачева Зинаида Александровна* (1907–2001) – жена Д. С. Лихачева.

<sup>35</sup> Александрия: Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века / Изд. подгот. М. Н. Ботвинник, Я. С. Лурье, О. В. Творогов. М.; Л., 1965.

<sup>36</sup> *Творогов О. В.* Древнерусские хронографы. Л., 1975.

<sup>37</sup> Об этом споре и позициях его участников см.: История спора о подлинности «Слова о полку Игореве»: Материалы дискуссии 1960-х годов / Вступ. статья, подгот. текстов и коммент. Л. В. Соколовой. СПб., 2010.

<sup>38</sup> *Меццерский Никита Александрович* (1906–1987) – доктор филологических наук (1960), специалист по истории русского литературного языка, древнеславянской переводной письменности и литературы. В 1963–1978 гг. заведовал кафедрой русского языка в ЛГУ, до 1982 г. оставался профессором кафедры.

<sup>39</sup> *Розов Николай Николаевич* (1912–1993) – доктор филологических наук (1973), археограф, палеограф, библиограф. С 1946 г. работал в ГПБ, с середины 1970-х гг. возглавлял группу древнерусской рукописной книги в Отделе рукописей, свыше 25 лет вел в ЛГУ спецкурс по русской палеографии.

<sup>40</sup> Внук Олега Викторовича, Владимир Игоревич Смирнов (р. 1981 г.).

<sup>41</sup> Дочь Олега Викторовича, Вера Олеговна Творогова, в замужестве Смирнова (р. 1956 г.).

<sup>42</sup> *Лихачева Вера Дмитриевна* (1937–1981) – доктор искусствоведения (1978), профессор, в 1959–1965 гг. работала в Государственном Эрмитаже, с 1965 г. преподавала в Институте имени И. Е. Репина, где читала курс лекций «Древнерусское искусство» и спецкурс «Искусство Византии».

<sup>43</sup> *Позднеев Александр Владимирович* (1891–1971) – литературовед, фольклорист; окончил историко-филологический факультет МГУ (1915); доктор филологических наук (1950), профессор Московского заочного пединститута. Речь идет о конференции по древнерусской литературе, проходившей в Пушкинском Доме в 1969 г.

<sup>44</sup> *Демкова Наталья Сергеевна* (р. 1932) – доктор филологических наук (1997), профессор кафедры истории русской литературы филфака СПбГУ. В 1958–1964 гг. – научный сотрудник Сектора древнерусской литературы ИРЛИ, с которым продолжала тесное сотрудничество после перехода на работу в ЛГУ.

<sup>45</sup> Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литературах / Введ. и ред. акад. Д. С. Лихачева. София: Изд-во Болгарской АН, 1988.

<sup>46</sup> *Толстой Никита Ильич* (1923–1996) – филолог-славист, фольклорист, академик АН СССР, затем РАН.

<sup>47</sup> *Палиевский Петр Васильевич* (р. 1932) – критик, литературовед, теоретик литературы и искусства, доктор филологических наук (1982), сотрудник Отдела классической литературы ИМЛИ АН СССР, в 1977–1994 гг. – зам. директора ИМЛИ, с 1994 г. – главный научный сотрудник ИМЛИ.

<sup>48</sup> *Успенский Борис Андреевич* (р. 1937) – филолог, семиотик, историк языка и культуры, доктор филологических наук (1972); старший научный сотрудник (1963–1965) и профессор МГУ (1977–1992). С 1992 г. – ведущий научный сотрудник РГГУ, с 2011 г. – профессор, зав. лабораторией лингвосомиотических исследований факультета филологии НИУ Высшей школы экономики. Преподавал в должности приглашенного профессора в Венском университете (1988), Гарвардском и Корнелльском университетах (1990–1991), в 1990-е гг. – в университетах Рима, Мельбурна, Будапешта.

<sup>49</sup> *Лотман Юрий Михайлович* (1922–1993) – литературовед, культуролог и семиотик; доктор филологических наук (1961). С 1954 г. преподавал в Тартуском университете, в 1960–1977 гг. зав. кафедрой русской литературы, с 1963 г. – профессор. Чл.-кор. Британской Академии наук (1977), член Норвежской Академии наук (1987), академик Шведской Королевской академии наук (1989) и член Эстонской Академии наук.

<sup>50</sup> *Мици Зара Григорьевна* (1927–1990) – литературовед, специалист по изучению творчества А. Блока и русского символизма, в 1951 г. вышла замуж за Ю. М. Лотмана и переехала в Тарту. Доктор филологических наук (диссертация защищена в 1972, утверждена ВАК в 1978), профессор кафедры русской литературы Тартуского университета.

<sup>51</sup> *Карло Гольдони* (Carlo Goldoni; 1707–1793) – венецианский драматург и либреттист.

<sup>52</sup> *Карло Гоцци* (Carlo Gozzi, 1720–1806), граф – венецианский писатель и драматург, автор сказочных пьес (фьяб; fiabe), использующих фольклорные элементы сюжета и принципы комедии дель арте в выборе персонажей-масок, в том числе пьесы «Любовь к трем апельсинам».

<sup>53</sup> *Творогов О. В.* Археография и текстология древнерусской литературы: Курс лекций. М.; СПб., 2009.

<sup>54</sup> *Соня Наставнёва* (р. 2008) – дочь внучки Олега Викторовича, Ирины Игоревны Смирновой, в замужестве Наставнёвой (р. 1986).